

## Текст 1

Что же касается меня, господа, то я всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры, — сказал Михаил Карлович, садовник графа N. — Я не боюсь за нравственность и за справедливость, когда говорят «невиновен», а, напротив, чувствую удовольствие. Даже когда моя совесть говорит мне, что, оправдав преступника, присяжные сделали ошибку, то и тогда я торжествую. Судите сами, господа: если судьи и присяжные более верят человеку, чем уликам, вещественным доказательствам и речам, то разве эта вера в человека сама по себе не выше всяких житейских соображений?

Мысль хорошая, — сказал я.

Но это не новая мысль. Помнится, когда-то очень давно я слышал даже легенду на эту тему, — сказал садовник и улыбнулся. — Мне рассказывала её моя покойная бабушка.

Мы попросили его рассказать эту легенду.

В одном маленьком городке, — начал он, — поселился пожилой, одинокий и некрасивый господин по фамилии Томсон или Вильсон, — ну это всё равно. Дело не в фамилии. Профессия у него была благородная: он лечил людей. Жители города были очень рады, что Бог наконец послал им человека, умеющего лечить болезни, и гордились, что в их городе живёт такой замечательный человек. «Он знает всё», — говорили про него.

Но этого было недостаточно. Надо было ещё говорить: «Он любит всех!» В груди этого учёного человека билось чудное, ангельское сердце. Ведь жители города были для него чужие, не родные, но он любил их, как детей, и не жалел для них своей жизни. У него самого была чахотка, он кашлял, но, когда его звали к больному, забывал про свою болезнь, не щадил себя и, задыхаясь, взбирался на горы, как бы высоки они ни были. Он пренебрегал зноем и холодом, презирал голод и жажду. Денег он не брал, и, странное дело, когда умирал пациент, то доктор шёл вместе с родственниками за гробом и плакал.

Признательность жителей не имела границ. В городке и его окрестностях не было человека, который позволил бы себе не только сделать ему что-нибудь неприятное, но даже подумать об этом.

И вот этот человек, который, казалось, своею святостью оградил себя от всего злого, доброжелателями которого считались даже разбойники и бешеные, однажды был найден в овраге убитым. Можете же представить себе теперь ту скорбь, какая овладела жителями города и окрестностей. Все в отчаянии, не веря своим глазам, спрашивали себя: кто мог убить этого человека? Судьи, которые проводили следствие, сказали так: «Здесь мы имеем все признаки убийства, но так как нет на свете такого человека, который мог бы убить нашего доктора, то, очевидно, убийства тут нет и совокупность признаков является только простою случайностью. Нужно предположить, что доктор в потёмках сам упал в овраг и ушибся до смерти».

Но вдруг, можете себе представить, случай наводит на убийцу. Увидели, как один шалопай, уже много раз судимый, пропивал в кабаке табакерку и часы, принадлежавшие доктору. Когда стали его уличать, он смутился и сказал какую-то очевидную ложь. Сделали у него обыск и нашли рубаху с окровавленными рукавами и докторский ланцет в золотой оправе. Каких же ещё нужно улик? Злодея посадили в тюрьму. Жители возмущались и в то же время говорили:

Невероятно! Не может быть! Смотрите, как бы не вышло ошибки; ведь случается, что улики говорят неправду!

На суде убийца упорно отрицал свою вину. Всё говорило против него, и убедиться в его виновности было так же нетрудно, как в том, что земля чёрная, но судьи точно с ума сошли: они по десяти раз взвешивали каждую улику, недоверчиво посматривали на свидетелей, краснели, пили воду...

Обвиняемый! — наконец обратился главный судья к убийце. — Суд признал тебя виновным в убийстве доктора такого-то и приговорил тебя к...

Главный судья хотел сказать: «к смертной казни», но выронил из рук бумагу, на которой был написан приговор, вытер холодный пот и закричал:

Нет! Если я неправильно сужу, то пусть меня накажет Бог, но, клянусь, подсудимый не виноват! Я не допускаю мысли, что мог найтись такой человек, который осмелился бы убить нашего доктора! Человек не способен пасть так низко!

Да, нет такого человека, — согласились прочие судьи.

Нет! — откликнулась толпа. — Отпустите его!

Убийцу отпустили на все четыре стороны, и ни одна душа не упрекнула судей в несправедливости. Пусть оправдательный приговор принесёт жителям городка вред, но зато, посудите, какое благотворное влияние имела на них эта вера в человека, вера, которая ведь не остаётся мёртвой: она воспитывает в нас великодушные чувства и всегда побуждает любить и уважать каждого человека. Каждого!

(По А. П. Чехову\*)

*Антон Павлович Чехов* (1860-1904) — русский писатель, прозаик, драматург.

## Текст 2

Он упал на заборонованную мякоть огородной земли, не добежав всего каких-нибудь десяти шагов до иссечённого осколками белого домика с разрушенной черепичной крышей — вчерашнего «ориентира три».

Перед тем он, разорвав гимнастёрку, пробрался сквозь чащу живой изгороди, в которой с самого начала этого погожего апрельского утра гудели, летали пчёлы, и, окинув быстрым взглядом редкую цепочку людей, бежавших к окраинным домикам, замахал руками и сквозь выстрелы крикнул:

— Принять влево, на кирху<sup>1</sup>!

Потом пригнулся, боднул воздух головой и, выронив пистолет, уткнулся лицом в тёплую мякоть земли.

Сержант Лемешенко в это время, размахивая автоматом, устало трусил вдоль колючей, аккуратно постриженной зелёной стены ограды и едва не наскочил на своего распостёртого взводного. Сперва он удивился, что тот так некстати споткнулся, потом ему всё стало ясно. Лейтенант навсегда застыл, прильнув русоволосой головой к рыхлой земле, поджав под себя левую ногу, вытянув правую, и несколько потревоженных пчёл суетились над его неподвижной пропотевшей спиной...

Лемешенко вбежал в довольно широкий заасфальтированный двор, на котором разместилось какое-то низкое строение, видно гараж. Вслед за сержантом вбежали сюда его подчинённые: Ахметов, Натужный, Тарасов, последним трусил Бабич.

Лейтенанта убило! — крикнул им сержант, высматривая проход.

В это время откуда-то сверху и близко прогрохотала очередь, и пули оставили на асфальте россыпь свежих следов.

Пулемёты били по стене, по шиферной крыше гаража, бойцы распластались под деревьями на травке и отвечали короткими очередями. Натужный выпустил с полдиска и утих: стрелять было некуда, немцы спрятались возле церкви, и их огонь с каждой минутой усиливался.

Ахметов, лёжа рядом, только сопел, зло раздувая тонкие ноздри и поглядывая на сержанта. «Ну а что дальше?» — спрашивал этот взгляд, и Лемешенко знал, что и другие тоже поглядывали на него, ждали команды, но скомандовать что-либо было не так-то просто.

А Бабич где?

Сержант хотел было приказать кому-нибудь посмотреть, что случилось с этим увальнем, но в это время слева замелькали фигуры автоматчиков их взвода: они высыпали откуда-то довольно густо и дружно ударили из автоматов по площади.

Лемешенко не подумал даже, а скорее почувствовал, что время двигаться дальше, в сторону церкви, и, махнув рукой, чтобы обратить внимание на тех, кто был слева, рванулся вперёд. Через несколько шагов он упал под вязом, дал две короткие очереди, кто-то глухо шмякнулся рядом, сержант не увидел кто, но почувствовал, что это Натужный. Слева не утихали очереди — это продвигались в глубь парка его автоматчики.

«Быстрее, быстрее», — в такт сердцу стучала в голове мысль. Не дать опомниться, нажать, иначе, если немцы успеют осмотреться и увидят, что автоматчиков мало, тогда будет плохо, тогда они здесь завязнут...

Пробежав ещё несколько шагов, он упал на старательно подметённую, пропахшую сыростью землю; вязы уже остались сзади, рядом скромно желтели первые весенние цветы. Парк окончился, дальше, за зелёной проволочной сеткой, раскинулась блестящая от солнца площадь, вымощенная мелкими квадратами сизой брусчатки.

В конце площади, возле церкви, суетились несколько немцев в касках.

«Где же Бабич?» — почему-то назойливо сверлила мысль, хотя теперь его охватило ещё большее беспокойство: надо было как-то атаковать церковь, пробежав через площадь, а это дело казалось ему нелёгким.

Автоматчики, не очень слаженно стреляя, выбегали из-за деревьев и залегали под оградой. Дальше бежать было невозможно, и сержанта очень беспокоило, как выбраться из этого опутанного проволокой парка. Наконец его будто осенило, он выхватил из кармана гранату и повернулся, чтобы крикнуть остальным. Но что кричать в этом грохоте! Единственно возможной командой тут был собственный пример — надёжный командирский приказ: делай как я. Лемешенко вырвал из запала чеку и бросил гранату под сетку ограды.

Дыра получилась небольшая и неровная. Разорвав на плече гимнастёрку, сержант протиснулся сквозь сетку, оглянулся — следом, пригнувшись, бежал Ахметов, вскакивал с пулемётом Натужный, рядом прогремели ещё разрывы гранат. Тогда он, уже не останавливаясь, изо всех сил рванулся вперёд, отчаянно стуча резиновыми подошвами по скользкой брусчатке площади.

И вдруг случилось что-то непонятное. Площадь покачнулась, одним краем вздыбилась куда-то вверх и больно ударила его в бок и лицо. Он почувствовал, как коротко и звонко брякнули о твёрдые камни его медали, близко, возле самого лица брызнули и застыли в пыли капли чьей-то крови.

Потом он повернулся на бок, всем телом чувствуя неподатливую жёсткость камней, откуда-то из синего неба взглянули в его лицо испуганные глаза Ахметова, но сразу же исчезли. Ещё какое-то время сквозь гул стрельбы он чувствовал рядом сдавленное дыхание, гулкий топот ног, а потом всё это поплыло дальше, к церкви, где, не утихая, гремели выстрелы.

«Где Бабич?» — снова вспыхнула забытая мысль, и беспокойство за судьбу взвода заставило его напрячься, пошевелиться. Он понимал, что с ним самим случилось что-то плохое, но боли не чувствовал, только усталость сковала тело да туман застилал глаза, не давая видеть, удалась ли атака, вырвался ли из парка взвод.

После короткого провала в сознании он снова пришёл в себя и увидел небо, которое почему-то лежало внизу, словно отражалось в огромном озере, а сверху на его спину навалилась площадь с редкими телами прилипших к ней бойцов.

Он повернулся, пытаясь увидеть кого-нибудь живого, — площадь и небо качались, а когда остановились, он узнал церковь, недавно атакованную без него. Теперь там уже не было слышно выстрелов, но из ворот почему-то выбегали автоматчики и бежали за угол. Закинув голову, сержант всматривался, стараясь увидеть Натужного или Ахметова, но их не было. Зато он увидел увальня Бабича и бежавшего впереди всех новичка Тарасова. Пригнувшись, этот молодой боец ловко перебежал улицу, затем остановился, решительно замахал кому-то и исчез, маленький и тщедушный рядом с высоченным зданием кирки. За ним побежали бойцы, и площадь опустела.

Сержант облегчённо вздохнул и как-то сразу успокоился и затих. К победе пошли другие...

(По В. В. Быкову\*)

**Василь Владимирович Быков** (1924-2003) — белорусский советский писатель, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны.

### Текст 3

Об этом человеке носились странные слухи: говорили, что он был нелюдим, ни с кем не знался, вечно сидел один, занимаясь химией, проводил жизнь за микроскопом, читал даже за обедом и ненавидел женское общество. О нём сказано в «Горе от ума»:

— Он химик, он ботаник,  
Князь Фёдор, наш племянник,  
От женщин бегаёт и даже от меня.

Мои родственники называли его не иначе как Химик, придавая этому слову порицательный смысл и подразумевая, что химия вовсе не может быть занятием порядочного человека.

С самого начала нашего знакомства Химик увидел, что я серьёзно занимаюсь, и стал уговаривать, чтоб я бросил «пустые» занятия литературой, а принялся бы за естественные науки. Он дал мне речь Кювье о геологических переворотах и де Кандолеву растительную орнагографию. Видя, что чтение идёт на пользу, он предложил свои превосходные собрания, снаряды, гербарии и даже своё руководство. Он на своей почве был очень занимателен, чрезвычайно учён, остёр и даже любезен; но для этого не надобно было ходить дальше обезьян; от камней до орангутанга его всё интересовало, далее он неохотно пускался, особенно в философию, которую считал болтовнёй. Он не был ни консерватором, ни отсталым человеком, он просто не верил в людей, то есть верил, что эгоизм — исключительное начало всех действий, и находил, что его сдерживает только безумие одних и невежество других.

Меня возмущал его материализм. Поверхностный и со страхом пополам вольтерианизм наших отцов несколько не был похож на материализм Химики. Его взгляд отличался спокойствием, последовательностью, завершёностью и напоминал известный ответ Лаланда Наполеону. «Кант принимает гипотезу бога», — сказал ему Бонапарт. «Государь, — возразил астроном, — мне в моих занятиях никогда не случалось нуждаться в этой гипотезе».

Взгляд его становился ещё безотраднее во всех жизненных вопросах.

Он находил, что на человеке так же мало лежит ответственности за добро и зло, как на звере; что всё — дело организации, обстоятельств и вообще устройства нервной системы, от которой больше ждут, нежели она в состоянии дать. Семейную жизнь он не любил, говорил с ужасом о браке и наивно признавался, что он прожил тридцать лет, не любя ни одной женщины. Впрочем, одна тёплая струйка в этом охлаждённом человеке ещё оставалась, она была видна в его отношениях к старушке матери; они много страдали вместе от отца, бедствия сильно сплавили их; он трогательно окружал одинокую и болезненную старость её, насколько умел, покоем и вниманием.

Теорий своих, кроме химических, он никогда не проповедовал, они высказывались случайно, вызывались мною. Он даже нехотя отвечал на мои романтические и философские возражения; его ответы были коротки, он их делал улыбаясь и с той деликатностью, с которой большой, старый мастиф играет со шпиком, позволяя ему себя теребить и только легко отгоняя лапой. Но это-то меня и дразнило всего больше, и я неутомимо возвращался к разговору, не выигрывая, впрочем, ни одного пальца почвы. Впоследствии, то есть лет через двенадцать, я много раз поминал Химику так, как поминал замечания моего отца; разумеется, он был прав в трёх четвертях всего, на что я возражал. Но ведь и я был прав. Есть истины, которые, как политические права, не передаются раньше известного возраста.

Влияние Химики заставило меня избрать физико-математическое отделение; может, ещё лучше было бы вступить в медицинское, но беды большой в том нет, что я сперва посредственно выучил, потом основательно забыл дифференциальные и интегральные исчисления.

Без естественных наук нет спасения современному человеку, без этой здоровой пищи, без этого строгого воспитания мысли фактами, без этой близости к окружающей нас жизни, без смирения перед её независимостью — где-нибудь в душе остаётся монашеская келья и в ней мистическое зерно, которое может разлиться тёмной водой по всему разумению.

(По А. И. Герцену\*)

*Александр Иванович Герцен* (1812-1870) — русский публицист, писатель, педагог, философ, автор мемуарной хроники «Былое и думы».

#### Текст 4

С годами меня всё чаще тянет к пушкинским стихам, к пушкинской прозе.

И к Пушкину как к человеку. Чем больше вникаешь в подробности его жизни, тем радостней становится от удивительного душевного здоровья, цельности его натуры.

Вот, очевидно, почему меня так задел один давний разговор, случайный летний разговор на берегу моря.

Мы гуляли с Н., одним из лучших наших физиков, и говорили об истории создания атомной бомбы, о трагедии Эйнштейна, подтолкнувшего создание бомбы и бессильного предотвратить Хиросиму.

Злодейство всегда каким-то образом связано с гением, — сказал Н., — оно следует за ним, как Сальери за Моцартом.

Как чёрный человек, — поправил кто-то.

Нет, чёрный человек — это не злодейство, — сказал Н. — Это что-то другое — судьба, рок; Моцарт ведь исполняет заказ чёрного человека, он пишет реквием, он не боится... А я говорю о злодействе.

Я уже не помню точно фраз и не хочу сочинять диалог, спорили о том, кто Сальери для Пушкина. Противник, злодей, которого он ненавидит, разоблачает, или же это воплощение иного отношения к искусству? Можно ли вообще в этом смысле связывать искусство и науку? А что если для Пушкина Моцарт и Сальери — это Пушкин и Пушкин, то есть борение двух начал?..

От этого случайного горячего спора осталось ощущение неожиданности.

Неожиданным было, как много сложных проблем пробуждает маленькая пушкинская трагедия. И то, как много можно понять из неё о нравственных требованиях Пушкина, о его отношении к искусству...

Злодейство было для меня всегда очевидно и бесспорно. Злодейством был немецкий мотоциклист. В блестящей чёрной коже, в чёрном шлеме он мчался на чёрном мотоцикле по солнечному просёлку. Мы лежали в кювете. Перед нами были тёплые желтеющие поля, синее небо, вдали низкие берега нашей Луги, притихшая деревня, и оттуда нёсся грохочущий чёрный мотоцикл. Винтовка дрожала в моих руках... Разумеется, я не думал ни о Пушкине, ни о Сальери. Это пришло куда позже — тогда, на войне, надо было стрелять...

Я возвращаюсь к началу: я учился трудному искусству читать Пушкина.

Простота его стихов обманчива. Иногда мне казалось, что я нашёл ответ, но всякий раз новые вопросы озадачивали меня.

Могут ли гении совершать злодейства? Может ли злодей-убийца Сальери быть гением? Оттого что он отравитель, разве музыка его стала хуже? Что же злодейство доказывает, что Сальери не гений? И опять: что такое гений?

У Пушкина гений — Дельвиг: «Дельвиг милый... навек от нас утекший гений», Державин обладает порывами истинного гения. Для Пушкина гений сохраняет древний смысл души, её творческую крылатость. Гений —• не только степень таланта, но и свойство его — некое нравственное начало, добрый дух.

Слово «гений» ныне обычно связано с великими созданиями, изобретениями, открытиями. Конечно, в законе относительности нет ничего ни нравственного, ни безнравственного. Наверное, тут следует разделить: открытие может быть гениальным, но гений не только само открытие. В пушкинском Моцарте гениальность его музыки соединена с личностью, с его добротой, доверчивостью, щедростью. Моцарт готов восторгаться всем хорошим, что есть у Сальери. Он свободен от зависти. Он открыт и простодушен.

Гений Моцарта исключителен: он весь не труд, а озарение, он символ того таинственного наития, которое свободно, без усилия изливается абсолютным совершенством.

Моцарт наиболее чисто олицетворяет тот дар, который ненавистен Сальери.

Прогце всего было объяснить ненависть завистью. О зависти твердит сам Сальери.

Но разве Сальери лишь завистник? Он смолоду признаёт чужой гений, он учится у великих, преклоняется перед ними, понимая прошлые свои заблуждения.

Вопрос о гении и злодействе подвергает сомнению задачу, которую решал Сальери всю свою жизнь.

Может ли человек стать гением?..

Стать, достичь трудом, силой своего разума того, что считается божественным даром? Сальери считал, что да, может.

Молодость Сальери, зрелость, вся его жизнь возникла для меня как целеустремлённая, в каком-то смысле идеальная прямая.

Таким представлялся мне идеал учёного. Настойчивость и ясное понимание, чего ты хочешь.

Сальери одержим. Но идея у него особая — стать творцом. Способность творить ему не была дана — он добывал её, вырабатывал...

Это не слепой бунт, это восстание Разума, вернее, Расчёта.

Композитором Сальери стал выдающимся. Слава ему улыбнулась. Музыка его нашла признание. Сам Моцарт твердит в счастливые минуты мотив Сальери из «Тарара».

Чем отличается гений Моцарта от негения Сальери? Грань тут неуловима.

Голос, который диктует Моцарту божественные созвучия, не слышен окружающим.

Для них и Моцарт, и Сальери одинаковы: оба всем своим существом чувствуют силу гармонии, оба страстно любят искусство, могут ценить его, оба жрецы прекрасного, избранные служить своему делу.

До той минуты, как Моцарт поднял стакан с ядом, оба — и Моцарт, и Сальери — были равноправные сыновья гармонии.

Но теперь гений отделился, яд разделил их.

Отравленное вино расторгло союз. Последняя реакция, последнее средство отделить подлинный гений от мнимого — это нравственное испытание. Злодейство открыло истинную, тёмную сущность Сальери. Маска сорвана.

Сущность открывается и самому Сальери. Вместе с ядом начинает действовать и логическая схема: гений для Моцарта не может быть злодеем, а так как Моцарт сам гений, бесспорный гений, то, следовательно, он имеет право судить, и, значит, Сальери не гений...

Нравственное начало становится пробой гения. И человечество отбирает для себя лишь тех, кто несёт это нравственное начало.

Пушкин оставляет Сальери жить и мучиться. Остаётся злодейство, но торжествует гений.

(По Д. А. Гранину\*)

*Даниил Александрович Гранин* (1919-2017) — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель.

## Текст 5

Солдаты, расположившиеся вокруг своей пушки, были заняты каждый своим делом. Кто, пристроившись к сосновому ящику со снарядами, писал письмо, слюня химический карандаш и сдвинув на затылок шлем; кто сидел на лафете, пришивая к шинели крючок; кто читал маленькую артиллерийскую газету.

Живя с разведчиками и наблюдая поле боя с разных сторон, Ваня привык видеть войну широко и разнообразно. Он привык видеть дороги, леса, болота, мосты, ползущие танки, перебегающую пехоту, минёров, конницу, накапливающуюся в балках.

Здесь, на батарее, тоже была война, но война, ограниченная маленьким кусочком земли, на котором ничего не было видно, кроме оружейного хозяйства (даже соседних пушек не было видно), ёлочек маскировки и склона холма, близко обрезанного серым осенним небом. А что было там, дальше, за гребнем этого холма, Ваня уже не знал, хотя именно оттуда время от времени слышались звуки перестрелки.

Ваня стоял у колеса орудия, которое было одной с ним вышины, и рассматривал бумажку, наклеенную на косой оружейный щит. На этой бумажке были крупно написаны тушью какие-то номера и цифры, которые мальчик безуспешно старался прочесть и понять.

Ну, Ванюша, нравится наше орудие? — услышал он за собой густой, добродушный бас.

Мальчик обернулся и увидел наводчика<sup>3</sup> Ковалёва.

Так точно, товарищ Ковалёв, очень нравится, — быстро ответил Ваня и, вытянувшись в струнку, отдал честь.

Видно, урок капитана Енакиева не прошёл зря. Теперь, обращаясь к старшему, Ваня всегда вытягивался в струнку и на вопросы отвечал бодро, с весёлой готовностью. А перед наводчиком Ковалёвым он даже переусердствовал. Он как взял под козырёк, так и забыл опустить руку.

Ладно, опусти руку. Вольно, — сказал Ковалёв, с удовольствием оглядывая ладную фигурку маленького солдата.

Наружностью своей Ковалёв меньше всего отвечал представлению о лихом солдате, Герое Советского Союза, лучшем наводчике фронта.

Прежде всего, он был не молод. В представлении мальчика он был уже не «дяденька», а, скорее, принадлежал к категории «дедушек». До войны он был заведующим большой птицеводческой фермой. На фронт он мог не идти. Но в первый же день войны он записался добровольцем.

Во время Первой мировой войны он служил в артиллерии и уже тогда считался выдающимся наводчиком. Вот почему и в эту войну он попросился в артиллерию наводчиком. Сначала в батарее к нему относились с недоверием — уж слишком у него была добродушная, сугубо гражданская внешность. Однако в первом же бою он показал себя таким знатоком своего дела, таким виртуозом, что всякое недоверие кончилось раз и навсегда.

Его работа при орудии была высочайшей степенью искусства. Бывают наводчики хорошие, способные. Бывают наводчики талантливые. Бывают выдающиеся. Он был наводчик гениальный. И самое удивительное заключалось в том, что за четверть века, которые прошли между двумя мировыми войнами, он не только не разучился своему искусству, но как-то ещё больше в нём окреп. Новая война поставила артиллерии много новых задач. Она открыла в старом наводчике Ковалёве качества, которые в прежней войне не могли проявиться в полном блеске. Он не имел соперника в стрельбе прямой наводкой.

Вместе со своим расчётом он выкатывал пушку на открытую позицию и под градусом пуль спокойно, точно и вместе с тем с необыкновенной быстротой бил картечью по немецким цепям или бронебойными снарядами — по немецким танкам.

Здесь уже мало было одного искусства, как бы высоко оно ни стояло.

Здесь требовалось беззаветное мужество. И оно было. Несмотря на свою ничем не замечательную гражданскую внешность, Ковалёв был легендарно храбр.

В минуту опасности он преображался. В нём загорался холодный огонь ярости. Он не отступал ни на шаг. Он стрелял из своего орудия до последнего патрона. А выстрелив последний патрон, он ложился рядом со своим орудием и продолжал стрелять из автомата. Расстреляв все диски, он спокойно подтаскивал к себе ящики с ручными гранатами и, прищурившись, кидал их одну за другой, пока немцы не отступали.

Среди людей часто попадаются храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к Родине может сделать из храбреца героя. Ковалёв был истинный герой.

Он страстно, но очень спокойно любил Родину и ненавидел всех её врагов.

А с немцами у него были особые счёты. В шестнадцатом году они отравили его удушливыми газами. И с тех пор Ковалёв всегда немного покашливал.

О немецких вояках он говорил коротко:

С ними у нас может быть только один разговор — беглым огнём. Другого они не понимают.

Трое его сыновей были в армии. Один из них уже был убит. Жена Ковалёва, по профессии врач, тоже была в армии. Дома никого не осталось.

Его домом была армия.

Несколько раз командование пыталось выдвинуть Ковалёва на более высокую должность. Но каждый раз Ковалёв просил оставить его наводчиком и не разлучать с орудием.

Наводчик — это моё настоящее дело, — говорил Ковалёв, — с другой работой я так хорошо не справлюсь. Уж вы мне поверьте. За чинами я не гонюсь. Тогда был наводчиком и теперь до конца войны хочу быть наводчиком. А для командира я уже не гожусь. Стар. Надо молодым давать дорогу. Покорнейше вас прошу.

В конце концов его оставили в покое. Впрочем, может быть, Ковалёв был прав: каждый человек хорош на своём месте. И, в конце концов, для пользы службы лучше иметь выдающегося наводчика, чем посредственного командира взвода.

Всё это было Ване известно, и он с робостью и уважением смотрел на знаменитого Ковалёва.

(По В. П. Катаеву\*)

**Валентин Петрович Катаев** (1897-1986) — русский советский писатель, поэт, киносценарист, драматург, журналист, военный корреспондент.



## Текст 6

В тот день с утра раннего первый турист припожаловал: трое мужиков да с ними две бабёночки. Местный лесник Егор Полушкин этих мужиков по мастям сразу распределил: сивый, лысый да плешивый. И бабёнок соответственно: рыжая и пегая.

Бабёнки возле мешков своих щебетали, а Колька, сын Егора, рядом вертелся.

В школе занятия закончились, так он иногда сюда заглядывал, отцу помогал.

Егор с сыном на пристань выскочили, быстренько мешки погрузили. Потом туристы расселись, Колька — он на носу устроился — от пристани оттолкнулся, Егор завёл «Ветерок», и лодка ходко побежала к дальнему лесистому берегу.

Туристы калякали о том, что водохранилище новое и рыбы тут особой быть не может. До Егора иногда долетали их слова, но значения им он не придавал, всецело поглощённый ответственным заданием. Да и какое было ему дело до чужих людей, сбежавших в тишину и покой на считанные денёчки! Он своё дело знал: доставить, куда прикажут, помочь устроиться и отчалить, только когда отпустят.

К обрывчику! — распорядился сивый. — Произведём небольшую разведочку.

Егор с сыном помогли туристам перетащить пожитки на облюбованное под лагерь место.

Это была весёлая полянка, прикрытая разросшимся ельничком. Здесь туристы быстро поставили просторную ярко-жёлтую палатку на алюминиевых опорах, с пологом и навесом, поручили Егору приготовить место для костра, а Кольке позволили надуть резиновые матрасы. Егор, получив от плешивого топорик, ушёл в лесок нарубить сушняка.

Прекрасное место! — щебетала пегая. — Божественный воздух!

Когда Колька осилил последний матрас, заткнул дырочку пробкой и маленько

отдышался, тятка его из ельника выломился. Ель сухую на дрова приволок и сказал:

Местечко-то мы не очень-то ласковое выбрали, граждане милые. Муравейник тут за ельничком: беспокоить мураши-то будут. Надо бы перебраться куда.

А большой муравейник-то? — спросил сивый.

А с погреб, — сказал Егор. — Крепкое семейство, хозяйственное.

Как интересно! — сказала рыжая. — Покажите, пожалуйста, где он.

Это можно, — сказал Егор.

Все пошли муравейник смотреть, и Колька тоже: на ходу отдышаться куда как легче. Только за первые ёлочки заглянули: гора. Что там погреб — с добрую баньку. Метра два с гаком.

Небоскрёб! — сказал плешивый. — Чудо природы.

Муравьёв кругом бегало — не счесть. Крупные муравьи: черноголовки. Такой тяпнет — сразу подскочишь, и Колька (босиком ведь) на всякий случай подальше держался.

Вот какое беспокойство вам будет, — сказал Егор. — А там подальше чуть — ещё поляночка имеется, я наглядел. Давайте пособлю с пожитками-то: и вам покойно, и им привычно.

Для ревматизма они полезные, муравьи-то, — задумчиво сказал плешивый. — Вот если у кого ревматизм...

Ой! — взвилась пегая. — Кусаются, проклятые!..

Дух чуют, — сказал Егор. — Они мужики самостоятельные.

Да, — вздохнул лысый. — Неприятное соседство. Обидно.

Чепуха! — Сивый махнул рукой. — Покорим! Тебя как звать-то, Егором? Одолжи-ка нам бензинчику, Егор. Банка есть?

Не сообразил Егор, зачем бензинчик-то понадобился, но принёс: банка нашлась.

Принёс, подал сивому:

Вот.

Молоток мужик, — сказал сивый. — Учтём твою сообразительность. А ну-ка отойдите подальше.

И плеснул всю банку на муравейник. Плеснул, чиркнул спичкой — ракетой взвилось пламя. Завыло, загудело, вмиг обняв весь огромный муравьиный дом.

Заметались черногол овики, скрючиваясь от невыносимого жара, затрещала сухая хвоя, и даже старая ель, десятки лет прикрывавшая лапами муравьиное государство, качнулась и затрепетала от взмывшего в поднебесье раскалённого воздуха.

А Егор с Колькой молча стояли рядом. Загораживаясь от жара руками, глядели, как корчились, стгорая, муравьи, как упорно не разбегались они, а, наоборот, презирая смерть, упрямо лезли и лезли в самое пекло в тщетной надежде спасти хоть одну личинку. Смотрели, как тает на глазах гигантское сооружение, терпеливый труд миллионов крохотных существ, как завивается от жара хвоя на старой ели и как со всех сторон бегут к костру тысячи муравьёв, отважно бросаясь в него.

Фейерверк! — восхитилась пегая. — Салют победы!

Вот и все дела, — усмехнулся сивый. — Человек — царь природы. Верно, малец?

Царь?.. — растерянно переспросил Колька.

Царь, малец. Покоритель и завоеватель.

Муравейник догорал, оседая серым, мёртвым пеплом. Лысый пошевелил его палкой, огонь вспыхнул ещё раз, и всё было кончено. Не успевшее погибнуть население растерянно металось вокруг пожара.

Отвоевали место под солнцем, — пояснил лысый. — Теперь никто нам не помешает, никто нас не побеспокоит.

И все пошли к лагерю.

Сзади плёлся потерянный Егор, неся пустую банку, в которой с такой готовностью сам же принёс бензин. Колька заглядывал ему в глаза, а он избегал этого взгляда, отворачивался, и Колька спросил шёпотом:

Как же так, тятка? Ведь живые же они...

Да вот, — вздохнул Егор. — Стало быть, так, сынок, раз оно не этак...

На душе у него было смутно, и он хотел бы тотчас же уехать, но ехать пока не велели. Молча готовил место для костра, вырезал рогульки, а когда закончил, бабёнки клеёнку расстелили и расставили закуски.

Идите, — позвали. — Перекусим на скорую руку.

Колька получил булку с колбасой, а в глазах мураши бегали. Суетливые, растерянные, отважные. Бегали, корчились, падали, и брюшки у них лопались от страшного жара.

И Егор этих мурашей видел. Даже глаза тёр, чтоб забылись они, чтоб из памяти выскочили, а они — копошились. И муторно было на душе у него, и делать ничего не хотелось, и к застолью этому садиться тоже не хотелось.

— Тут у нас природа кругом. Да. Это у нас тут — пожалуйста, отдыхайте. Тишина, опять же спокойно. А человеку что надобно? Спокой ему надобен. Всякая животина, всякая муравьятина, всякая ёлка-берёзонька — все по покою своему тоскуют. Вот и мураши, обратно же, они, это... Тоже.

(По Б. Л. Васильеву\*)

**Борис Львович Васильев** (1924-2013) — русский советский писатель, сценарист, лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента Российской Федерации.

## Текст 7

Удивительная работа — воспоминания. Мы вспоминаем нечто по совершенно неизвестной нам причине. Скажите себе: «Вот сейчас я вспомню что-нибудь из детства». Закройте глаза и скажите это. Вспомнится нечто совершенно не предвиденное вами. Участие воли здесь исключено. Картина зажигается, включённая какими-то инженерами позади вашего сознания...

Когда я начал учиться в гимназии, мне было лет одиннадцать. Всего одиннадцать лет отделяли меня от моего несуществования в мире, и уже я был в форменной фуражке, в тужурке, в кожаном поясе с металлической бляхой посередине живота. Уже я стоял перед географической картой двух полушарий, смотрел на лиловые многоугольники колоний, на раковину Мадагаскара, читал и понимал слово «Великобритания»... Уже я писал готические немецкие буквы, уже думал о героях истории, которые были до меня — до моих одиннадцати лет. Как я воспринимал то обстоятельство, что я живу ещё немного, начал жить ещё очень недавно? Я этого обстоятельства вообще не воспринимал. Скорее, другие мне говорили, что я маленький. Сам я этого не чувствовал, об этом не размышлял.

Я не думал о том, что можно быть каким-нибудь другим, кроме того, кем я был.

Если мне хотелось быть взрослым, то я думал не о физических изменениях, а только о тех возможностях, которые даны взрослому: не готовить уроки, есть сколько хочешь пирожных. Я был человек, просто человек, не зная о себе, что я маленький, что только недавно явился в мир, что расту, узнаю, постигаю и тому подобное.

Именно — я был просто человек...

Я думал, что после окончания гимназии я куплю велосипед и совершу на нём поездку по Европе. Первая война ещё не начиналась, ещё всё было очень старинно: солдаты в чёрных мундирах с красными погонами, зверинец на Куликовом поле с одним львом, говорящая голова в зеркальном ящике в балагане. Ещё бывала первая любовь, когда девочка смотрела на тебя с балкона, и ты думал, не уродлив ли ты. Ещё отец девочки, моряк в парадном мундире, гремя палашом, шёл тебе навстречу и отвечал тебе на поклон, отчего ты бежал во весь дух, сам не зная куда, обезумевший от счастья. Ещё продавали из-за зелёного прилавка квас по две копейки за стакан, и ты возвращался после игры в футбол, неся в ушах звон мяча.

Я не купил велосипеда и не совершил путешествия по Европе. Горел Верден, Реймский собор, в котором в своё время бракосочеталась с французским королём дочь Ярослава Мудрого. Появились первые танки, и впервые аэропланы стали сбрасывать бомбы. Однако в музеях по-прежнему висели необыкновенные картины, прекрасные, как деревья на закате. Во сне я иногда вижу своё пребывание в Европе, которого никогда не было. Чаще всего мне снится Краков в виде стены, идущей кверху вдоль дороги, — старой стены, с которой свисают растения, стучащие по ней ветками и шелестящие цветами...

Я ещё люблю вспоминать. Я мало что знаю о жизни. Мне больше всего нравится, что в ней есть звери, большие и маленькие, что в ней есть звёзды, выпукло и сверкающе смотрящие на меня с ясного неба, что в ней есть деревья, прекрасные, как картины, и ещё многое и многое...

Какая чудесная вещь — свобода воспоминаний! Какая прелесть в том, что они появляются как им угодно и никак мы не можем заставить себя вспомнить именно это, а не другое. Разумеется, есть точная закономерность этого возникновения, но — увы — мы её никогда не поймём.

(По Ю. К. Олеше\*)

**Юрий Карлович Олеша** (1899-1960) — русский советский писатель, поэт, драматург, журналист, киносценарист.

## Текст 8

В эту ночь снились мне безобразнейшие сны. Немудрено: весь вечер давили меня воспоминания о каторжных годах моей школьной жизни, и я не мог от них отвязаться. Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел и о которых с тех пор не имел никакого понятия, — сунули сиротливого, уже забитого их побрякушками, уже задумывающегося, молчаливого и дико на всё озиравшегося. Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож. Но я не мог насмешек переносить; я не мог так дешево уживаться, как они уживались друг с другом. Я возненавидел их тотчас и заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость.

Грубость их меня возмутила. Они цинически смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой; а между тем какие глупые у них самих были лица!

В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам. Через несколько лет на них и глядеть становилось противно. Ещё в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился; меня уж и тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров. Они таких необходимых вещей не понимали, такими внушительными, поражающими предметами не интересовались, что поневоле я стал считать их ниже себя. Не оскорблённое тщеславие подбивало меня к тому, и, ради бога, не вылезайте ко мне с приевшимися до тошноты казёнными возражениями, что я только мечтал, а они уж и тогда действительную жизнь понимали. Ничего они не понимали, никакой действительной жизни, и, клянусь, это-то и возмущало меня в них наиболее. Напротив, самую очевидную, режущую глаза действительность они принимали фантастически глупо и уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Над всем, что было справедливо, но унижено и забито, они жестокосердно и позорно смеялись.

Чин почитали за ум; в шестнадцать лет уже толковали о тёплых местечках.

Конечно, много тут было от глупости, от дурного примера, беспрерывно окружавшего их детство и отрочество. Развратны они были до уродливости. разумеется, и тут было больше внешности, больше напускной циничности; разумеется, юность и некоторая свежесть мелькали и в них даже из-за разврата; но непривлекательна была в них даже и свежесть и проявлялась в каком-то ёрничестве. Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй, был их же хуже. Они мне тем же платили и не скрывали своего ко мне омерзения. Но я уже не желал их любви; напротив, я постоянно жаждал их унижения. Чтоб избавиться себя от их насмешек, я нарочно начал как можно лучше учиться и пробился в число самых первых. Это им внушило некоторое почтение. К тому же все они начали помаленьку понимать, что я уже читал такие книги, которых они не могли читать, и понимал такие вещи (не входившие в состав нашего специального курса), о которых они и не слыхивали. Дико и насмешливо смотрели они на это, но нравственно подчинялись, тем более что даже учителя обращали на меня внимание по этому поводу. Насмешки прекратились, но осталась неприязнь, и установились холодные, натянутые отношения. Под конец я сам не выдержал: с годами развивалась потребность в людях, в друзьях. Я попробовал было начать сближаться с иными; но всегда это сближение выходило неестественно и так само собой и оканчивалось.

Был у меня раз как-то и друг. Но я уже был деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над его душой; я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде; я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей дружбой; я доводил его до слёз, до судорог; он был наивная и отдающаяся душа; но когда он признал моё первенство, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя, — точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. Но всех я не мог победить; мой друг тоже ни на одного из них не был похож и составлял самое редкое исключение. Первым делом моим по выходе из школы было оставить ту специальную службу, к которой я предназначался, чтобы все нити порвать...

(По Ф. М. Достоевскому\*)

**Фёдор Михайлович Достоевский** (1821-1881) — русский писатель, мыслитель, философ, публицист, член-корреспондент Петербургской академии наук.

## Текст 9

Как-то Анатолий Бочаров высказал предположение о наступившем периоде усталости нашей военной прозы. Не стану по примеру некоторых специалистов этого рода литературы опровергать видного критика и теоретика советской литературы, немало сделавшего и для осмысления военной прозы: вполне возможно, он прав.

Как и всякое живое дело, военная проза в своём развитии не может избежать определённых спадов. Но вряд ли когда-либо померкнут в её сокровищнице замечательные по мастерству и правдивости произведения, принадлежащие перу Юрия Бондарева, Григория Бакланова, Константина Симонова, Владимира Богомолова, Константина Воробьёва, Юрия Гончарова, Евгения Носова, Сергея Крутилина и других. Написанные, казалось бы, об одном и том же, о человеке на войне, эти произведения несут в себе неиссякаемое разнообразие — жанровое, тематическое, стилевое, различие личностно-авторского отношения к войне и её непростым проблемам. Но, разумеется, самое ценное в них — правда пережитого, достоверность подробностей и психологии, неизменность гуманистического отношения к человеку самой трудной судьбы — солдату на самой большой и самой кровавой войне.

О войне написано много во всех жанрах литературы, на 77 языках народов нашей страны, разумеется, с различной степенью мастерства, умельства, талантливости.

Что до меня как читателя (да, я думаю, и до большинства читателей, воевавших и невоевавших), то, может быть, для нас дороже всего в этих книгах не мастерство изложения, не красочность слога, но — правда. За тысячелетия земной истории о войне на всех языках мира написано много неправды, красивых сказок и прямой лжи. Говорить неправду о ней не только безнравственно, но и преступно как по отношению к миллионам её жертв, так и по отношению к будущему. Люди Земли должны знать, от какой опасности они избавились и какой ценой досталось им это избавление.

Что касается читателя, то ему интересно знать всё: от переживаний солдата в передовом окопе до работы крупных штабов и ставки по руководству войсками.

Литература многое сделала для раскрытия психологии рядового бойца и младшего офицера переднего края, но по причине отсутствия прежде всего личного опыта у её авторов она оказалась некомпетентной до всего, что касается крупных штабов, объединений, ставки.

Этот пробел в значительной мере восполняют военные мемуары, принадлежащие перу генералов, крупных военачальников, у которых немало честных и хороших книг.

Но немало также и таких, где фактическая сторона изложения воспринимается с большим сомнением, где, как писал недавно Виктор Астафьев, «проступает явное враньё».

В самом деле, часто трудно добраться до сути через аккуратный штакетник<sup>1</sup> округлых стереотипных фраз или задним числом сочинённых подробностей, заимствованных из фронтовой печати тривиальных примеров и бесконечных страниц разговоров.

Да, люди по праву хотят знать о войне полнее, больше, особенно о том, что лежит за пределами их жизненного или военного опыта. Но когда я читаю длинные главы, описывающие в подробностях жесты, выражения, всё те же разговоры генералов, маршалов, исторических лиц, сокровенные раздумья о собственных военных просчётах бывшего наркома обороны, я с недоумением обращаюсь к имени автора на обложке и спрашиваю себя: откуда всё это? Из каких документов, по чьим свидетельствам?

Ах, это авторский домysel, стало быть, сочинённость, выдумка, но тогда, извините, тогда мне это неинтересно.

Кому нужна эта художественность, ради которой попирается главное и, может, единственное достоинство этого рода литературы — правда. Тем более что у нас есть и примеры другого рода, замечательные примеры высокого документализма и самой высокой гражданственности. Здесь уместно вспомнить творчество, да и всю жизнь незабвенного Сергея Сергеевича Смирнова. Его книги способны стать образцом, примером для подражания последующих поколений писателей-документалистов.

Или же «Блокадная книга» Адамовича и Гранина, где всё — факт, жизнь, судьба, уже принадлежащие истории. Трагической странице нашей с вами истории.

Тот же Виктор Астафьев писал недавно: «Думаю, всё лучшее в литературе о войне создано теми, кто воевал на передовой». В общем, это справедливо, хотя я бы не стал утверждать столь категорично, соглашаясь, однако, с той частью его утверждения, что личный опыт войны здесь незаменим. Вся беда литературы второго сорта как раз и заключается в отсутствии определённого личного опыта у одних авторов и в поспешии этого опыта теми, у кого он есть, в уходе за его пределы, я бы сказал, за пределы какого бы то ни было опыта в область сочинительства, приблизительности и — неправды. И потому такая литература, с каким бы изяществом она ни была создана, неприемлема по своей сути: она не прибавляет ничего к познанию и осмыслению духа войны, а уводит читателя в область мифов, ортодоксии<sup>1</sup> и домysлов. Во всяком другом случае, может быть, об этом и не следовало бы говорить, но прошлая война для нас, как недавно писал Евтушенко, слишком сокровенная тема, прикасаться к которой надобно с ясным сознанием огромной ответственности: под ней море народной крови.

Виктор Астафьев прав: память человеческая избирательна и любит приятное.

К старости всё трудное видится в ином свете, нежели в том, что освещал муки, кровь и страдания в годы военной молодости. Задним числом кому не хочется видеть себя героем? Это понятно и извинительно для всякого стареющего человека, но не для литературы. Литература не имеет права на старость и должна всё помнить в подробностях, в первозданности, не упускать ничего.

(По В. В. Быкову\*)

**Василь Владимирович Быков** (1924-2003) — белорусский советский писатель, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны.

100balnik.ru.com

## Текст 10

Чего нам так не хватает?

А не хватает нам любви к детям. Не хватает самоотверженности родительской, педагогической. Не хватает сыновней, дочерней любви.

Есть простая поговорка: «Как аукнется, так и откликнется». Сколько положишь, столько и получишь. Верные вроде бы формулы. Только если следовать лишь им, добьёшься одного воспроизводства. Для сеятеля это просто беда, когда зерна он снимет ровно столько же, сколько посеял. Пахарь должен получить прибавок, только тогда он выживет, прокормит свою семью. Так же точно и общество должно бы существовать. Прогресс состоит из прибавок, которые дают поколения, «посеянные» их родителями и наставниками. Конечно, прибавок этот есть, но в каких пространствах? В пространстве человеческих знаний, конечно. В области технологий. А как с духовностью? Увы, в этой тонкой сфере воспроизводства мы радуемся даже простому отклику на ауканье.

И слишком часто замечаем простые потери: не больше, нет, а меньше становится доброты, милосердия. Грубее и жёстче отношения между самыми добрыми вроде бы людьми. Исполнение долга в межлических отношениях уступает служебным обязанностям — там человек и обязательнее, и профессиональнее.

А любовь к детям стала напоминать любовь к собственному имуществу.

Впрочем, имущество порой дороже людей... Что может быть печальней и горше! Давно замечено: и лучшие, и худшие стороны человека выявляет беда.

Януш Корчак не только последние месяцы своего бытия, но и всю предыдущую жизнь стоял рядом с бедой, точнее, жил в её гуще, работая с детьми-сиротами.

Сиротство, эта библейски древняя форма человеческого одиночества, требует сострадания и соучастия, самоотверженной и терпеливой любви настоящих стойков и гуманистов.

Януш Корчак — первый из них; но не временем, пусть трагическим, измерено это первенство, а мерой его выбора, мерой честности.

Мера эта — смерть.

Не только поляки чтут выбор своего бессмертного учителя. Его имя внесено в святцы<sup>1</sup> и мировой педагогики, и элементарной человеческой порядочности. И именно в его устах, под его пером в высшей степени правомерно звучит дидактическое, даже назидательное наставление: как любить детей.

Небольшая книжка Януша Корчака «Как любить ребёнка» — своеобразный манифест гуманизма. Нестареющий завет, переданный в наши и грядущие времена из времён, как будто от нас удалённых и в то же время совершенно похожих, потому что речь идёт о любви к детям, а это ценность постоянная. Духовная комфортность делает человека толстокожим, совершает в его сознании странные подвижки, когда ценности мнимые застят свет, а ценности подлинные уходят обочь.

Каждому рано или поздно воздаётся по заслугам, но часто — слишком поздно, когда ничего не исправишь, и в этом истоки многих человеческих драм. Те, кто воображает, будто доброта и любовь малозначимые, второстепенные качества, которые не помогают, а, напротив, даже вредят, допустим, при достижении карьеры, бывают наказаны на краю этой карьеры, а ещё чаще — на краю собственной жизни — нелюбовью и недобротой окружающих.

И пусть же всякий, кто спохватится и заторопится вперёд — от нелюбви к любви, от недоброты к доброте, припадёт, как к чистому истоку, к этой последней заповеди Януша Корчака.

(По А. А. Лиханову\*)

*Альберт Анатольевич Лиханов* (род. в 1935 г.) — детский и юношеский писатель, президент Международной ассоциации детских фондов, лауреат Международной премии имени Януша Корчака.

## Текст 11

Я очень плохо знаю деревенскую жизнь. Точнее, я не знаю её совсем.

Хотя я наблюдал жизнь в деревне. У моих родителей был дом в деревне, который мы называли «дача». Но это не была дача в подмосковном смысле, и это не был летний домик. Это был старый деревенский дом, сложенный из брёвен и с крытой досками крышей. Такой настоящий сибирский дом. Дом этот стоял в середине деревни Колбиха, а Колбиха живописно расползлась своими сорока дворами по красивому и холмистому левому берегу реки Томи. От города Кемерово до Колбихи было в аккурат 80 километров. Мы владели этим домом в деревне около пятнадцати лет. И около пятнадцати лет, когда я приезжал в Колбиху, мне удавалось наблюдать деревенскую жизнь.

Наш дом (а мы все и всегда будем называть его «наш» дом) так и стоит по сей день в деревне. Колбиха. Если будете там, то без труда его найдёте. Он довольно большой, стоит в самом центре деревни...

Удивительное дело! Я помню все лица и почти все имена жителей деревни Колбиха, хотя лично я там проводил не больше полутора месяцев в год. Я уже не могу вспомнить имён всех своих учителей или одноклассников. Помню многих, но не всех. Я не смогу вспомнить всех, с кем мне доводилось много лет работать.

А вот жители Колбихи не забываются. Там не было ни одного незаметного человека.

А ещё — и это я знаю точно — жители Колбихи не считают свою деревню ни маленькой, ни большой. Они об этом не думают. Город для них был непостижимо велик. Город им был непонятен как место, а главное, как способ жизни. А Колбиха была их миром.

А теперь я понимаю, что Колбиху-то я люблю. Люблю сильно и преданно.

Видимо, поэтому и не могу забыть ни одного лица, ни одного дома. Пушкин писал: «Там русский дух, там Русью пахнет». Не знаю, что он подразумевал, какой запах. Но для меня это запах Колбихи. Это запах сырого, холодного и страшноватого тумана, который вечером выползал из леса и накрывал деревню. Это запах дыма из бани зимой, а баню топили мёрзлыми берёзовыми дровами. Это запах солярки, свежескошенной травы, сухого сена, пыли, что летит с дороги в наш двор и долго висит в воздухе... Много запахов.

Я люблю Колбиху, понимаю это и чувствую всё сильнее и сильнее.

Когда я вспоминаю Колбиху, меня охватывает неуёмное и очень тревожное желание что-то важное сохранить. Но я понимаю в то же самое мгновение, что сохранить ничего нельзя. Жизнь не зафиксировать, не передать, не удержать! Я не смогу передать или пересказать, как говорила наша соседка Клавдия Владимировна. Не смогу передать её интонации, её обороты, её словечки, её истории. И даже если бы я сделал тысячи снимков, записал бы массу рассказов, всё равно эти записи и фотографии ничего не сохраняют и не сэберегут. Даже для меня они будут только иллюстрациями к моим воспоминаниям, переживаниями к моей любви.

А любовь не нуждается в иллюстрациях, как жизнь не терпит остановок и неподвижности.

Я пытался рассказать что-то про то, что я видел, чего коснулся и что полюбил.

И вот я с ужасом и радостью понимаю, что у меня нет средств и возможностей передать словами то, что я видел, слышал, вдыхал и знал.

Я же догадываюсь, даже точно знаю, что наша Колбиха ничем не особенная деревня. Купили бы мы дом в другой деревне, были бы другие лица, другие истории, имена. Но «наш» дом был в Колбихе. У меня в моей жизни есть эта деревня, а не другая.

А ещё я помню, когда мы после последней нашей зимы в Сибири приехали проститься с Колбихой, помню, как радостно нас встретила наша Бася — сиамская кошка не очень чистых кровей. Бася явно собиралась с нами в город. А мы ощущали себя предателями.

Мы успокаивали себя, мол, будет трудный и далёкий переезд в другой далёкий город, а там неизвестно что. Мы говорили друг другу, что нашей Басе в Колбихе только лучше. Что в деревне свобода и простор. И ещё мы знали, что Клавдия Владимировна Басю любит и в обиду не даст.

Но ничего не помогало. Мы всё равно чувствовали себя предателями. Смогли бы мы остаться в деревне навсегда?! Прожили бы?

Мы приезжали в деревню, дышали воздухом, слушали птиц, парились в бане, беседовали с деревенскими, но у нас был «обратный билет». Вот и любили мы деревню-матушку. Любили и любим до сих пор. Я люблю, хотя совсем не знаю деревенской жизни. Я её только видел. Видел из окна нашего дома. Но такого «нашего» у нас уже не будет. Это ясно.

Но я уверен, что в Колбихе до сих пор встречаются котята с тёмными острыми мордочками и необычным цветом глаз. Они шустры и своенравны. Это следы диковинной сиамской породы, которая смешалась с деревенским густым кошачьим замесом. Так мы смогли повлиять на колбихинскую жизнь. Такова наша лепта. Небольшая плата за любовь и такую серьёзную и глубокую грусть, которая позволяет мне без сомнений, запинки и обиняков говорить слово «Родина».

(По Е. В. Гришковцу\*)

**Евгений Валерьевич Гришковец** (род. в 1967 г.) — российский писатель, драматург, театральный режиссёр.



## Текст 12

Вот что! — с восторгом воскликнул Иван Васильевич. — Вот что!.. Надо заделать прореху в нашей истории. Надо написать краткую, но выразительную летопись Восточной России...

Тут жар Ивана Васильевича немного простыл.

«А источники где? — подумал он. — Источники найдутся где-нибудь. А как найдутся? »

Нет, Иван Васильевич, это труд уж, кажется, не по тебе. И в самом деле, кому же охота пожертвовать всей жизнью на дело, которое ещё на поверку может выйти вздором?..

Вдруг Иван Васильевич ударил себя по лбу.

Нашёл! — закричал он с вдохновением. — Нашёл своё новое, глубокое, громадное воззрение... Я человек русский, я посвятил себя России. Скажет ли она за то спасибо — не знаю; да не в том дело. Я все труды, все мысли отдаю родине, и потому прочие предметы могут иметь для меня ценность только относительную. Итак, я изучу влияние Востока на Россию, в отношениях его к одной России, влияние неоспоримое, влияние важное, влияние тройственное: нравственное, торговое и политическое. Сперва начну с нравственного влияния, которое с давнего времени ведёт на нашей почве упорную борьбу с влиянием Запада.

Давно оба врага разъярились и кинулись друг на друга врукопашную, не замечая, что они стискивают между собою бедное, исхудалое славянское начало. Не лучше ли бы им, кажется, помириться, и взять с обеих сторон невинную жертву за руки, и вывести её на чистый воздух, и дать ей поздороветь. Пусть каждый расскажет ей потом исповедь своего сердца, наставит на истинный путь, указав на пагубные последствия собственных заблуждений, на блестящую награду своих доблестей.

В самом деле, Россия находится в странном положении. Слева Европа, как хитрая прелестница, нашептывает ей на ухо обольстительные слова; справа Восток, как пасмурный седой старик, протяжно, но грозно твердит ей вечно свою неизменную речь.

Кого же слушать? К кому обращаться? Слушать обоих. Не обращаться ни к кому, а идти вперёд своей дорогой. Слушать для того, чтоб воспользоваться чужим опытом, чужими бедствиями, чужими страшными уроками и надёжнее, вернее стремиться к истине. На Востоке всякое убеждение свято. На Западе нет более убеждений. На Востоке господствует чувство, на Западе властвует мысль.

А России суждено слить в себе мысль и чувство при лучах просвещения, как сливаются на небе цвета радуги от яркого блеска солнца. Восток презирает суетность житейских треволнений; Запад погибает в непрерывном их столкновении. И тут можно найти середину. Можно слить желание усовершенствования с мирным, высоким спокойствием, с непоколебимыми основными правилами. Мы многим обязаны Востоку: он передал нам чувство глубокого верования в судьбы провидения, прекрасный навык гостеприимства и в особенности патриархальность нашего народного быта.

Но — увы! — он передал нам также свою лень, своё отвращение к успехам человечества, непростительное нерадение к возложенным на нас обязанностям и, что хуже всего, дух какой-то странной, тонкой хитрости, который, как народная стихия, проявляется у нас во всех сословиях без исключения. При благодетельном направлении эта хитрость может сделаться качеством и даже добродетелью, но при отсутствии духовного образования она доводит до самых жалких последствий; она приводит к неискренности взаимных отношений, к неуважению чужой собственности, к постоянному тайному стремлению ослушиваться законов, не исполнять приказаний и, наконец, даже к самому безнравственному плутовству. Востоку мы обязаны тем, что столько мужиков и мастеровых обманывают нас на работе, столько кушцов обвешивают и обмеривают в лавках и столько дворян губят имя честного человека на службе. Страшно вымолвить, — а привычка в нас сделала то, что мы остаёмся равнодушными, будучи свидетелями самых противозаконных хищений, так что даже первобытные понятия наши с годами изменяются и кража не кажется нам воровством, обман нам кажется не ложью, а какой-то предосудительною необходимостью.

Впрочем, слава богу, тут Западом побеждён у нас Восток, и мстительный факел осветил пучину козней и позора. Долго ещё будут у нас проявляться следы сокрушительного начала, но они давно уже переходят в осадки всех сословий, в низшие слои людей разных именований, потому что каждое сословие имеет свою чернь. Как ни говори, как ни кричи, что ни печатай, Россия быстрым полётом стремится по стезе величия и славы — к недостижимой на земле цели совершенства. И более всех других народов Россия приблизится к ней, ибо никогда не забудет, что одного вещественного благосостояния точно так же недостаточно для жизни государства, как недостаточно для жизни частного человека. Широкой, могучей пятой задавит она мелкие гадины, кровожадные ехидны, которые хотят ползком пробраться до её сердца, и весело отпрянет она, полная любви и силы, к чистому, беспредельному русскому небу...

— Вот, — заключил Иван Васильевич, — предмет так предмет! Влияние нравственное, влияние торговое, влияние политическое. Влияние восточное, слитое с влиянием Запада в славянском характере, составляет, без сомнения, нашу народность.

Но как распознать каждую стихию отдельно? Народность-то, кажется, препорядочно закутана. Её придётся распеленать, чтоб добраться до неё, а потом как узнаешь, что пелёнка, что нога? Мужайся, Иван Васильевич: дело великое! Ты на Восток недаром попал; итак, изучай старательно влияние Востока на святую Русь... Ищи, ищи теперь впечатлений. Всматривайся в восточные народы. Изучай всё до последней мелочи... Рассмотрю каждую каплю, влитую в нашу народную жизнь, — а потом и найдёшь ты народность. За дело, Иван Васильевич, за дело!

(По В. А. Соллогубу\*)

*Владимир Александрович Соллогуб* (1813-1882) — русский прозаик, драматург, поэт и мемуарист.

100balnik.ru.com

### Текст 13

За эти месяцы тяжёлой борьбы, решающей нашу судьбу, мы всё глубже познаём кровную связь с тобой и всё мучительнее любим тебя, Родина.

В мирные годы человек, в довольстве и счастье, как птица, купающаяся в небе, может далеко отлететь от гнезда и даже покажется ему, будто весь мир — его родина. Иной человек, озлобленный горькой нуждой, скажет: «Что вы твердите мне: родина! Что видел я хорошего от неё, что она мне дала?»

Надвинулась общая беда. Враг разоряет нашу землю и всё наше вековечное хочет назвать своим.

Тогда и счастливый, и несчастный собираются у своего гнезда. Даже тот, кто хотел бы укрыться, как сверчок, в тёмную щель и посвистывать там до лучших времён, понимает, что теперь нельзя спастись в одиночку.

Гнездо наше, родина возобладала над всеми нашими чувствами. И всё, что мы видим вокруг, что раньше, быть может, мы и не замечали, не оценили, как пахнувший ржаным хлебом дымок из занесённой снегом избы, — теперь пронзительно дорого нам. Человеческие лица, ставшие такими серьёзными, и глаза — такими похожими на глаза людей с одной всепоглощающей мыслью, и говор русского языка — всё это наше, родное, и мы, живущие в это лихолетье, хранители и сторожа родины нашей.

Все наши мысли о ней, весь наш гнев и ярость — за её поругание, и вся наша готовность — умереть за неё. Так юноша говорит своей возлюбленной: «Дай мне умереть за тебя».

Родина — это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному будущему, в которое он верит и создаёт своими руками для себя и своих потомков.

Это вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру в законность и нерушимость своего места на земле.

Когда-нибудь, наверно, национальные потоки сольются в одно безбурное море, — в единое человечество. Но для нашего века это за пределами мечты.

Наш век — это суровая, железная борьба за свою независимость, за свою свободу и за право строить по своим законам своё общество и своё счастье.

Русский народ создал огромную изустную литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, весёлые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, — говорившиеся нараспев, под звон струн, — о славных подвигах богатырей, защитников земли народа, — героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки.

Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга.

Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов.

Народы Западной Европы получили в наследство римскую цивилизацию.

России достались в удел пустынный лес да дикая степь. Вплоть до XVIII века Россия жила по курным избам и всё будущее богатство своё и счастье создавала и носила в мечтах, как скатерть-самобранку за пазухой.

Народ верил в свой талант, знал, что настанет его черёд и другие народы потеснятся, давая ему почётное место в красном углу<sup>1</sup>.

Наша земля немало поглотила полчищ наезжавших на неё насильников.

На Западе возникали империи и гибли. Из великих становились малыми, из богатых — нищими. Наша родина ширилась и крепла, и никакая вражья сила не могла пошатнуть её.

Так было, так будет.

(По А. Н. Толстому\*)

*Алексей Николаевич Толстой* (1883-1945) — русский и советский писатель.

## Текст 14

Если хочешь понять душу леса, найди лесной ручей и отправляйся берегом его вверх или вниз.

Я иду берегом своего любимого ручья самой ранней весной. И вот что я тут вижу, и слышу, и думаю.

Вижу я, как на мелком месте текущая вода встречает преграду в корнях елей и от этого журчит о корни и распускает пузыри. Рождаясь, эти пузыри быстро мчатся и тут же лопаются, но большая часть их сбивается дальше у нового препятствия в далеко видный белоснежный ком.

Новые и новые препятствия встречает вода, и ничего ей от этого не делается, только собирается в струйки, будто сжимает мускулы в неизбежной борьбе.

Водная дрожь от солнца бросается тенью на ствол ёлки, на травы, и тени бегут по стволам, по травам, и в дрожи этой рождается звук, и чудится, будто травы растут под музыку, и видишь согласие теней.

С мелкоширокого плёса вода устремляется в узкую приглубь, и от этой бесшумной устремлённости кажется, будто вода мускулы сжала.

Рябь же на воде, схваченная солнцем, и тень, как дымок, перебегает вечно по деревьям и травам, и под звуки ручья раскрываются смолистые почки, и травы поднимаются из-под воды и на берегах.

А вот тихий омут с поваленным внутрь его деревом; тут блестящие жучки-вертушки распускают рябь на тихой воде.

Под сдержанный ропот воды струи катятся уверенно и на радости не могут не перекликнуться: сходятся могучие струи в одну большую и, встречаясь, сливаются, говорят и перекликаются: это перекличка всех приходящих и расходящихся струй.

Вода задевает бутоны новорождённых жёлтых цветов, и так рождается водная дрожь от цветов. Так жизнь ручья проходит то пузырями и пеной, а то в радостной перекличке среди цветов и танцующих теней.

Дерево давно и плотно легло на ручей и даже позеленело от времени, но ручей нашёл себе выход под деревом и быстриком, с трепетными тенями бьёт и журчит.

Некоторые травы уже давно вышли из-под воды и теперь на струе постоянно кланяются и отвечают вместе и трепету теней, и ходу ручья.

А то вот большой завал, и вода как бы ропщет, и далеко слышен этот ропот и переплеск. Но это не слабость, не жалоба, не отчаяние — вода этих человеческих чувств вовсе не знает; каждый ручей уверен в том, что добежит до свободной воды, и далее, если встретится гора, пусть и такая, как Эльбрус, он разрежет пополам Эльбрус рано ли, поздно ли, но всё равно добежит.

Пусть завал на пути, пусть! Препятствия делают жизнь: не будь их, вода бы безжизненно сразу ушла в океан, как из безжизненного тела уходит непонятная жизнь.

На пути явилась широкая низина. Ручей, не жалея воды, наполнил её и побежал дальше, оставляя эту заводь жить собственной жизнью.

Согнулся широкий куэт под напором зимних снегов и теперь опустил в ручей множество веток, как паук, и, ещё серый, насел на ручей и шевелит всеми своими длинными ножками.

Семена елей плывут и осин.

Весь проход ручья через лес — это путь длительной борьбы, и так создаётся тут время.

И так длится борьба, и в этой длительности успевают зародиться жизнь и моё сознание.

Да, не будь этих препятствий на каждом шагу, вода бы сразу ушла и вовсе бы не было жизни-времени.

В борьбе своей у ручья есть усилие, струи, как мускулы, скручиваются, но нет никакого сомнения в том, что рано ли, поздно ли он попадёт в океан к свободной воде, и вот это «рано ли, поздно ли» и есть самое-самое время, самая-самая жизнь.

Перекликаются струи, напрягаясь у сжатых берегов, выговаривают своё: «рано ли, поздно ли». И так весь день и всю ночь журчит это «рано ли, поздно ли».

И пока не убежит последняя капля, пока не пересохнет весенний ручей, вода без устали будет твердить: «Рано ли, поздно ли мы попадём в океан».

По заберегам отрезана весенняя вода круглой лагункой, и в ней осталась от разлива щучка в плену.

А то вдруг придёшь к такому тихому месту ручья, что слышишь, как на весь-то лес урчит снегирь и зяблик шуршит старой листвой.

А то мощные струи, весь ручей в две струи под косым углом сходятся и всей силой своей ударяет в кручь, укреплённую множеством могучих корней ели.

Так хорошо было, что я сел на корни и, отдыхая, слышал, как там внизу, под кручей, перекликались уверенно могучие струи. Привязал меня ручей к себе, и не могу я отойти в сторону...

Вышел на лесную дорогу — на самых молодых берёзках зеленеют и ярко сияют ароматной смолой почки, но лес ещё не одет.

Ручей выбежал из глухого леса на поляну и в открытых тёплых лучах солнца разлился широким плёсом. Половина воды отдельным ручьём пошла в сторону, другая половина — в другую. Может быть, в борьбе своей за веру в своё «рано ли, поздно ли» вода разделилась: одна вода говорила, что вот этот путь раньше приведёт к цели, другая в другой стороне увидела короткий путь, и так они разошлись, и обежали большой круг, и заключили большой остров между собой, и опять вместе радостно сошлись и поняли: нет разных дорог для воды, все пути рано ли, поздно ли непременно приведут её в океан.

И глаз мой обласкан, и ухо всё время слышит: «рано ли, поздно ли», и аромат смолы и берёзовой почки — всё сошлось в одно, и мне стало так, что лучше и быть не могло, и некуда мне было больше стремиться. Я опустился между корнями дерева, прижался к стволу, лицо повернул к тёплому солнцу, и тогда пришла моя желанная минута.

Ручей мой пришёл в океан.

(По М. М. Пришвину\*)

**Михаил Михайлович Пришвин** (1873-1954) — русский писатель, прозаик и публицист.

## Текст 15

Кружила январская метелица, скрипели мёрзлые тополя в переулке, верховой ветер гремел железом, то и дело срывал снежную пыль с карнизов, нёс её вдоль побелённых заборов, над свежими сугробами, а оно, это единственное в ночи окно, светилось зелёным уютным пятном и, всегда одинаково яркое, тёплое, занавешенное, притягивало к себе, вызывало приятное ощущение неразгаданной тайны.

Неизменно каждый вечер меня встречал в переулке этот домашний маячок в деревянном домике, загороженный занавеской огонёк настольной лампы, — и я представлял натопленную комнату, стеллажи, заставленные книгами по всем стенам, потёртый коврик на полу перед диваном, письменный стол, стеклянный абажур лампы, распространяющий оранжевый круг в полумраке, и кого-то, мило сутуловатого, в старческих добрых морщинах, кто одиноко жил там, окружённый благословенным раем книг, листал их ласкающими пальцами, ходил по комнате шаркающей походкой, думал, работал до глубокой ночи за письменным столом, ничего не требуя от мира, от суетных его удовольствий. Но кто же он был — учёный, писатель? Кто?

Раз прошлой весной (в набухшей сыростью мартовской ночи всюду капало, тоненько звенели расколотые сосульки, фиолетовыми стёклышками отливали под месяцем незамёрзшие лужицы на мостовой) я глядел на знакомое окно, на ту же зеленовато-тёплую, освещённую изнутри занавеску, испытывая необоримое чувство. Мне хотелось подойти, постучать в стекло, увидеть колыхание отодвинутой занавески и его знакомое в моём воображении лицо, иссечённое сеточкой морщин вокруг прищуренных глаз, увидеть стол, заваленный листами бумаги, внутренность комнатки, заполненной книгами, коврик на полу... Мне хотелось сказать, что я, наверное, ошибся номером дома, никак не найду нужную мне квартиру — примитивно солгать, чтобы хоть мельком заглянуть в пленительный этот воздух чистоплотного его жилья и работы в окружении книг — казалось, единственных его друзей.

Но я не решился, не постучал. И позднее не мог простить себе этого.

Нет, спустя два месяца ничего не изменилось, всё было по-прежнему, а в тихоньком переулке была весна, майский вечер медленно темнел в глубине замоскворецких дворишков; среди свежей молодой зелени зажигались фонари над заборами, майский жук с гудением потянул из дворика, ударился о стекло фонарного колпака, упал на тротуар, замер, потом задвигал ошеломлённо лапками, пытаясь перевернуться. Тогда я помог ему, сказав зачем-то: «Что ж ты?..» Он пополз по тротуару к стене дома, к водосточной трубе (она была в трёх шагах от окна), а я почувствовал какое-то внезапное неудобство, глянувшее на меня из майских сумерек.

Окно в домике не горело. Оно было как провал...

Что случилось?

Я дошёл до конца переулка, постоял на углу, вернулся, надеясь увидеть знакомый свет в окне. Но окно сумрачно отблёскивало стёклами, занавеска висела неподвижно, не теплилось на ней преоранжевое зарево, как бывало по вечерам, и в один миг всё стало неприятным, и показалось, что там, в невидимой этой комнатке, произошло несчастье.

С беспокойством я опять дошёл до угла и, уже подсознательно торопясь, вернулся в переулок. Я внушал себе, что сейчас вспыхнет зелёный свет на занавеске и всё в переулке станет обыденным, умиротворённым...

Свет в окне не зажётся.

А на следующий день я почти бегом завернул по дороге домой в соседний переулок, и здесь неожиданное открытие поразило меня. Окно было распахнуто, занавеска отдёрнута, выказывая нутро комнаты, книжные полки, какую-то карту на стене, — всё это впервые увидел я, не раз представляя моего неизвестного друга за вечерней работой.

Пожилая женщина с мужским лицом и мужской причёской стояла у письменного стола и смотрела в пространство отсутствующими глазами.

Тотчас она заметила меня, рывком задёрнула занавеску — и шершавый холодок вполз в мою душу. И дом, и переулок, и окно представились мне ложными, незнакомыми.

И я понял, что случилось несчастье, что мой воображаемый друг, тот седенький старичок с шаркающей походкой, к которому так тянуло меня душевно, был нужен мне как близкий друг.

(По Ю. В. Бондареву\*)

**Юрий Васильевич Бондарев** (1924-2020) — русский советский писатель и сценарист.

## Текст 16

Одно желание было у лейтенанта Бориса Костяева: скорее уйти от этого хутора, от изуродованного поля подальше, увести с собой остатки взвода в тёплую, добрую хату и уснуть, уснуть, забыться.

Но не всё ещё перевидал он сегодня.

Из оврага выбрался солдат в маскхалате, измазанном глиной. Лицо у него было будто из чугуна отлито: черно, костляво, с воспалёнными глазами. Он стремительно прошёл улицей, не меняя шага, свернул в огород, где сидели вокруг подождённого сарая пленные немцы, жевали чего-то и грелись.

Греетесь, живодёры! Я вас нагрēju! Сейчас, сейчас... — солдат поднимал затвор автомата срывающимися пальцами.

Борис кинулся к нему. Брызнули пули по снегу... Будто вспугнутые вороны, заорали пленные, бросились врассыпную, трое удирали почему-то на четвереньках. Солдат в маскхалате подпрыгивал так, будто подбрасывало его землёю, скаля зубы, что-то дикое орал он и слепо жарил куда попало очередями.

Ложись! — Борис упал на пленных, сгребая их под себя, вдавливая в снег.

Патроны в диске кончились. Солдат всё давил и давил на спуск, не переставая кричать и подпрыгивать. Пленные бежали за дома, лезли в хлев, падали, проваливаясь в снег. Борис вырвал из рук солдата автомат. Тот начал шарить на поясе. Его повалили. Солдат, рыдая, драл на груди маскхалат.

Маришку сожгли-и-и! Селян в церкви сожгли-и-и! Мамку! Я их тыщу... Тыщу кончу! Гранату дайте!

Старшина Мохнаков придавил солдата коленом, тёр ему лицо, уши, лоб, грёб снег рукавицей в перекошенный рот.

Тихо, друг, тихо!

Солдат перестал биться, сел и, озираясь, сверкал глазами, всё ещё накалёнными после припадка. Разжал кулаки, облизал искусанные губы, схватился за голову и, уткнувшись в снег, зашёлся в беззвучном плаче. Старшина принял шапку из чьих-то рук, натянул её на голову солдата, протяжно вздохнув, похлопал его по спине.

В ближней полуразбитой хате военный врач с засученными рукавами бурого халата, напяленного на телогрейку, перевязывал раненых, не спрашивая и не глядя — свой или чужой.

И лежали раненые вповалку — и наши, и чужие, стонали, вскрикивали, плакали, иные курили, ожидая отправки. Старший сержант с наискось перевязанным лицом, с наплывающими под глазами синяками, послонявил сигарку, прижёт и засунул её в рот недвижно глядевшему в пробитый потолок пожилому немцу.

Как теперь работать-то будешь, голова? — невнятно из-за бинтов бубнил старший сержант, кивая на руки немца, замотанные бинтами и портянками. — Познобился весь. Кто тебя кормить-то будет и семью твою? Фюрер? Фюреры, они накормят!..

В избу клубами вкатывался холод, сбегались и сползались раненые. Они тряслись, размазывая слёзы и сажу по ознобелым лицам.

А бойца в маскхалате увели. Он брёл, спотыкаясь, низко опустив голову, и всё так же затажно и беззвучно плакал. За ним с винтовкой наперевес шёл, насупив седые брови, солдат из тыловой команды, в серых обмотках, в короткой прожжённой шинели.

Санитар, помогавший врачу, не успевал раздевать раненых, пластать на них одежду, подавать бинты и инструменты. Корней Аркадьевич, из взвода Костяева, включился в дело, и легкораненый немец, должно быть из медиков, тоже услужливо, сноровисто начал обихаживать раненых.

Рябоватый, кривой на один глаз врач молча протягивал руку за инструментом, нетерпеливо сжимал и разжимал пальцы, если ему не успевали подать нужное, и одинаково угрюмо бросал раненому:

— Не ори! Не дёргайся! Ладом сиди! Кому я сказал... Ладом!

И раненые, хоть наши, хоть исчужа, понимали его, послушно, словно в парикмахерской, замирали, сносили боль, закусывая губы.

Время от времени врач прекращал работу, вытирал руки о бязевую онучу, висевшую у припечка на черенке ухвата, делал козью ножку из лёгкого табака.

Он выкуривал её над деревянным стиральным корытом, полным потемневших бинтов, рваных обуток, клочков одежды, осколков, пуль. В корыте смешалась и загустела брусничным киселём кровь раненых людей, своих и чужих солдат. Вся она была красная, вся текла из ран, из человеческих тел с болью. «Идём в крови и пламени, в пороховом дыму».

(По В. П. Астафьеву\*)

**Виктор Петрович Астафьев** (1924-2001) — советский и российский писатель, драматург, эссеист.

На Невском, у Литейного, постоянно толпились одни и те же компании ребят. А на углу Садовой и Невского были уже другие компании. Тогда не сидели в кафе, тогда топтались на Невском, гуляли по Невскому, шли «прошвырнуться», встречая знакомых, приятелей... Я пытался вспомнить язык тех лет, и вдруг оказалось, что не так-то это просто. Никто толком не записывал те словечки, и песни тех лет, и всякие истории и легенды, которые ходили по городу. В песенном нашем репертуаре отражалось время, ещё взбаламученное, где всё переплелось, соседствовало — романтика Гражданской войны, блатное, пионерское и нэповское: «Юный барабанщик» и «Вот умру я, умру, и не станет меня», «Там вдали, за рекой, догорали огни» и «Кирпичики». Распевали песни из первых звуковых фильмов: «Златые горы», «Встречный», «Путёвка в жизнь»...

Одна Лиговка чего стоила с её жаргоном, её героями. Лиговка — обиталище гоп-компаний. Обводный канал с его барахолками. А первые танцзалы, первые Дворцы культуры — Выборгский, Нарвский... В этом городе шла жизнь, не похожая на нынешнюю. Носились мальчишки-газетчики с «Вечерней Красной газетой», на дачу уезжали в Сестрорецк или Тарховку. Не было ни метро, ни троллейбусов. Было много деревянных домов, которые в блокаду разбирали на дрова... Нет, это был во многом другой город, черты его утрачены, а жаль, потому что всегда хочется иметь фотографии своей молодой жизни.

Или возьмите мостовую, составленную из деревянных чёрных шашек-торцов. Ими была вымощена Моховая улица, даже Невский проспект. Ну как в музее передать звонко цокающий звук подков по сухой торцовке? Как повторить смолисто-дегтярный запах, что курился в летнюю жару на улицах, выложенных просмолёнными шашками, запах, напоминающий мне лесосеки, где работал отец, смолокурни, добычу живицы<sup>1</sup>? Осенью торцы становились осклизлыми, лошади шли по ним бесшумно.

Одни вещи исчезают вместе со своими названиями, поскольку названия не живут сами по себе, осиротелые. Другие вещи отдают свои названия. Холодильник был ещё во времена Пушкина — ведёрце со льдом, куда ставили бутылки вина.

И теперь в хороших ресторанах подают такое ведёрце. Но его уже не называют холодильником. Имя это отобрал себе электрический холодильник. Что такое «пресс-папье»? А то ещё — «кляксапайр»<sup>1</sup>? Многие не знают этих слов, пресс-папье не продаются, не употребляются, нет и названия такого. Пресс-папье сейчас ни к чему, ибо чернилами не пишут. Раньше же повсюду имелись пресс-папье: на почте, в конторах, в институтах на всех письменных столах стояли десятки, наверное, даже сотни тысяч простеньких, дешёвых, массивных, дорогих, каменных, художественных, отделанных бронзой; все они полукруглые, снабжённые розовыми, белыми промокашками, ими сушили — промокали написанные бумаги.

У моей мамы были щипцы для завивки волос. Щипцы нагревали на огне, затем накручивали на них волосы. Это было самое распространённое женское оборудование. Такое же, как позднее бигуди. Эти щипцы стали электрощипцами.

А самовар стал электросамоваром, утюг — электроутюгом, лампа перешла от керосиновой к электрической...

Город 30-х годов. За ним последовал город войны, блокады, город 40-х годов, тоже чьё-то детство. Недавний Ленинград уже кажется трогательным и наивным, расцветенным колдовским туманом детских воспоминаний. Какими предстанем там мы, взрослые и пожилые? Как подсмотреть будущие воспоминания о Петербурге XXI века? Его вещах, звуках, домах?

Незаметно, украдкой детская память творит их из наших слов, наших улиц, из нас самих. Они могут выплыть благодаря какой-нибудь ерунде — песенке, подстаканнику — в пыльной невнятице случайных находок, через десятки лет.

Зеркала будущего отразят вещи нашего обихода с праздничной растроганностью.

В музее отживших вещей наш потомок наткнётся на мотоцикл, сверкающий древним никелем, положит руки на рогатый руль... Смутная грусть передастся ему от извечной невозможности понять ушедшее.

Город 30-х годов сохраняется памятью бывших мальчишек и девчонок. В этом заповеднике он акварельно обольстителен. Там всегда сияет жёлтое солнце с толстыми лучами и идут демонстрации. На самом деле этот город не был так хорош, но есть в нём черты узнаваемые, неповторимо пыльные. Воодушевление и зов... С тех пор прошло много лет. Город стал куда красивей, богаче, поздоровел, раздался в плечах. Почему же мы вновь и вновь вглядываемся в его облик, отыскивая в нём прежде всего то, совсем не такое уж благополучное и тем не менее счастливое, прошлое?..

(По Д. А. Гранину\*)

**Даниил Александрович Гранин** (1919-2017) — российский советский писатель, киносценарист, общественный деятель.



## Текст 18

Несомненно, Дюма останется ещё на многие годы любимцем и другом читателей с пылким воображением и с не совсем остывшей кровью. Но, увы, надолго сохранится и убеждение в том, что большинство его произведений написаны в слишком тесном сотрудничестве с другими авторами.

Повторять что-нибудь дурное, сомнительное, позорное о людях славы и искусства было всегда лакомством для критиков и публики. Помню, как в Москве один учитель средней школы на жадные расспросы о Дюма сказал уверенно:

— Дюма? Да ведь он не написал за всю жизнь ни одной строчки.

Он только нанимал романистов и подписывался за них. Сам же он писать совсем не умел. И даже читал с большим трудом.

Конечно, всякому ясно, что выпустить в свет около пятисот шестидесяти увесистых книг, содержащих в себе длиннейшие романы и пятиактные пьесы, — дело немыслимое для одного человека, каким бы он ни был работоспособным, какими бы физическими и духовными силами он ни обладал. Если мы допустим, что Дюма умудрялся при титанических усилиях писать по четыре романа в год, то и тогда ему понадобилось бы для полного комплекта его сочинений работать около ста сорока лет самым усердным образом, подхлёстывая себя неистово сотнями чашек крепчайшего кофе. Да. У Дюма были сотрудники. Например: Огюст Маке, Поль Мерис, Октав Фейе, Е. Сустре, Жерар де Нерваль, были, вероятно, и другие...

...Но вот тут-то мы как раз и подошли к чрезвычайно сложным, запутанным и щекотливым литературным вопросам. С самых давних времён весьма много было сказано о вольном и невольном плагиате, об использовании чужих, хотя бы очень старых, хотя бы совсем забытых, хотя бы никогда не имевших успеха сюжетов.

Коллективное творчество имеет множество видов, условий и оттенков.

Во всяком случае, на фасаде выстроенного дома ставит своё имя архитектор.

А не каменщик, и не маляры, и не землекопы.

Чарльз Диккенс, которого Достоевский называл самым христианским из писателей, иногда не брезговал содействием литературных сотоварищей, каковыми бывали даже и дамы-писательницы: мисс Мэльхолланд и мисс Стрэттон, а из мужчин — Торкбери, Гаскайн и Уилки Коллинз. Особенно последний, весьма талантливый писатель, имя и сочинения которого до сих пор ценны для очень широкого круга читателей.

(21 распределение совместной работы происходило приблизительно так: Диккенс — прекрасный рассказчик — передавал иногда за дружеской беседой нить какой-нибудь пришедшей ему в голову или от кого-нибудь слышанной истории курьёзного или трогательного характера. Потом этот намёк на тему разделялся на несколько частей, в зависимости от количества будущих сотрудников, и каждому из соавторов, в пределах общего плана, предоставлялось широкое место для личного вдохновения. Потом отдельные части повести соединялись в одно целое, причём швы заглаживал опытный карандаш самого Диккенса, а затем общее сочинение шло в типографский станок. Эти полушутливые вещицы вошли со временем в полное собрание сочинений Диккенса. Сотрудники в нём переименованы, но вот беда: если не глядеть на фамилии, то Диккенс сразу бросается в глаза своей вечной прелестью, а его сотоварищей по перу никак не отличишь друг от друга.

В фабрике Дюма были, вероятно, совсем иные условия и отношения.

Прежде всего надо сказать, что если кто и был в этом товариществе настоящим работником, то, конечно, он, сорокасильный, неутомимый, неукротимый, трудолюбивейший Александр Дюма. Он мог работать сколько угодно часов в сутки, от самого раннего утра до самой поздней ночи, иногда и больше. Из-под пера так и падали с лёгким шелестом бумажные листы, исписанные мелким отличнейшим почерком, за который Дюма обожали наборщики (кстати, и его восхищённые первочитатели). Говорят, он пыхтел и потел во время работы, ибо был тучен и горяч. По его бесчисленным сочинениям можно судить, какое огромное количество требовалось ему сведений об именах, характерах, родстве, костюмах, привычках действующих персонажей. Разве хватало у него времени просиживать часами в библиотеке, бегать по музеям, рыться в пыли архивов, разыскивать старые хроники и мемуары и делать выписки из редких исторических книг? Если в этой кропотливой работе ему помогали друзья (как впоследствии Флоберу), то оплатить эту услугу было бы одинаково честно и ласковой признательностью, и денежными знаками или, наконец, и тем и другим.

Правда, Дюма порою мало церемонился с годами, числами и фактами, но во всех лучших его романах безошибочно чувствуется его собственная, хозяйская, авторская рука. Её узнаёшь и по характерному искусству диалога, по грубоватому остроумию, по яркости портретов и быта, по внутренней доброте...

Правда и то, что очень часто, особенно в последние свои годы, Дюма прибегал к самому щедрому и самому бескорыстному сотруднику — к ножницам.

Но и здесь, сквозь десятки чужих страниц географического, этнографического, исторического и вообще энциклопедического свойства всё-таки блистает прежний Дюма, пылкий, живой, увлекательный, роскошный.

Огюст Маке заявил публичную претензию на Дюма, которому он чем-то помог в «Трёх мушкетёрах». Оттуда и пошёл разговор о помощниках. Но после первого театрального представления одноимённой пьесы, переделанной из романа и прошедшей с колоссальным успехом, Дюма, под бешеные аплодисменты и крики, насильно вытащил упиравшегося Маке к рампе, потребовал молчания и сказал своим могучим голосом:

— Вот Огюст Маке, мой друг и сотрудник. Ваши лестные восторги относятся одинаково и к нему, и ко мне.

И у Маке потекли из глаз слёзы.

(По А. И. Куприну\*)

*Александр Иванович Куприн* (1870-1938) — русский писатель, переводчик.

100balnik.ru.com

## Текст 19

В избушке у самого леса живёт старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего нет у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотёсанных брёвен воет по ночам голодный Лыско — одна из лучших охотничьих собак в Тычках.

Дедко, а дедко, теперь олени ходят с телятами? — с трудом спросил маленький Гришутка однажды вечером.

С телятами, Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти.

Вот бы, дедко, телёночка добыть...

Погоди, добудем... Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и телёночка добуду, Гришук!

Гришутке всего было шесть лет, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под тёплой оленьей шкурой. Мальчик простудился ещё весной, когда таял снег, и всё не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внучонок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю.

Стояли последние дни июня месяца. Емеля вышел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу.

Ну, Гришук, поправляйся без меня... — говорил Емеля внуку на прощанье. — За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за телёнком схожу.

А принесёшь телёнка-то, дедко?

Принесу, сказал.

Жёлтенького?

Жёлтенького...

Ну, я буду тебя ждать... Смотри не промахнись, когда стрелять будешь...

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском, и всё напрасно: оленя с телёнком не попадалось. Только на четвёртый день, когда и охотник, и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно попали на след оленя с телёнком.

«Мать с телёнком, — думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт. — Сегодня утром были здесь... Лыско, ищи, голубчик!..»

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох... Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова внучка: «Дедко, добудь телёнка... и непременно, чтобы был жёлтенький». Вон и мать... Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю.

«Нет, ты меня не обманешь...» — думал Емеля, выползая из своей засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.

«Это мать меня от телёнка отводит», — думал Емеля, подползая всё ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

Не уйдёшь от телёнка, — шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося оленёнка; старый Емеля и сердился, и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь всё равно не уйдёт от него олень... Лыско, как тень, ползал за хозяином.

Когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом.

Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него, под кустом жимолости, стоял тот самый жёлтенький телёнок, за которым он бродил целых три дня.

Это был прехорошенький оленёнок, всего нескольких недель, с жёлтым пушком и тоненькими ножками; красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперёд, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем взвёл курок винтовки и прицелился в голову маленькому, беззащитному животному...

Ещё одно мгновение, и маленький оленёнок покатился бы по траве с жалобным криком; но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала телёнка его мать, припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волков своей жизнью. Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружьё. Оленёнок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. (56) Емеля быстро поднялся и свистнул — маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

Ишь какой бегун... — говорил старик, задумчиво улыбаясь. — Только его и видел: как стрела... Ведь убежал, Лыско, наш оленёнок-то? Ну, ему, бегуну, надо расти... Ах ты, какой шустрый!..

Старик долго стоял на одном месте и всё улыбался, припоминая бегуна.

(По Д. Н. Мамину-Сибиряку\*)

*Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк* (1852-1912) — русский прозаик и драматург.

## Текст 20

Ты часто жаловался мне, что тебя «не понимают!». На это даже Гёте и Ньютон не жаловались... Тебя отлично понимают... Если же ты сам себя не понимаешь, то это не вина других.

Уверю тебя, что, как брат и близкий тебе человек, я тебя понимаю и от всей души тебе сочувствую. Все твои хорошие качества я знаю как свои пять пальцев, ценю их и отношусь к ним с самым глубоким уважением. Я, если хочешь, в доказательство того, что понимаю тебя, могу даже перечислить эти качества. По-моему, ты добр до трюпичности, великодушен, не эгоист, делишься последней копеечкой, искренен. Ты чужд зависти и ненависти, простодушен, жалеешь людей и животных, нехиден, незлопамятен, доверчив. Ты одарён свыше тем, чего нет у других: у тебя талант. Этот талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо на земле один художник приходится только на два миллиона.

Талант ставит тебя в обособленное положение: будь ты жабой или тарантулом, то и тогда бы тебя уважали, ибо таланту всё прощается. Недостаток же у тебя только один. В нём и твоя ложная почва, и твоё горе. Это твоя крайняя невоспитанность.

Извини, пожалуйста. Дело в том, что жизнь имеет свои условия. Чтобы чувствовать себя в своей тарелке в интеллигентной среде, чтобы не быть среди неё чужим и самому не тяготиться ею, нужно быть известным образом воспитанным.

Воспитанные люди, по моему мнению, такие.

Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: «С вами жить нельзя!» Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилище посторонних.

Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом.

Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.

Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего.

Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии. Они неболтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Из уважения к чужим ушам они чаще молчат.

Они не унижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие и стремление помочь. Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не понимают!»

Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями.

Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой.

Таковы воспитанные. Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть Пиквика и вызвать монолог из Фауста.

Тут нужны непрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый час.

(По А. П. Чехову\*)

*Антон Павлович Чехов* (1860-1904) — русский писатель, прозаик, драматург.

## Текст 21

На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки с желтоватой водой.

На каждой бутылке была наклейка. На наклейках кривым старческим почерком было написано: «Вода из Нила», «Вода из реки Лимпопо», «Вода из Средиземного моря».

Бутылок было много. Но сколько мы ни разглядывали эту воду, во всех бутылках она была одинаково жёлтая и скучная на вид.

Мы приставали к учителю географии Черпунову, чтобы он разрешил нам попробовать воду из Мёртвого моря. Нам хотелось узнать, действительно ли она такая солёная. Но пробовать воду Черпунов не позволял.

Старшеклассники рассказывали, что на квартире у Черпунова устроен небольшой географический музей, но старик к себе никого не пускает. Там были будто бы чучела колибри, коллекция бабочек, телескоп и даже самородок золота.

Наслушавшись об этом музее, я начал собирать свой музей. Он был, конечно, небогатый, но расцветал в моём воображении как царство удивительных вещей. Разнообразные истории были связаны с каждой вещью — будь то пуговица румынского солдата или засушенный жук-богомол.

Однажды я встретил Черпунова в Ботаническом саду.

Пойди сюда! — подозвал меня Черпунов и протянул толстую руку. — Садись, рассказывай. Ты, говорят, собрал маленький музей. Что у тебя есть?

Я робко перечислил свои незамысловатые ценности. Черпунов усмехнулся.

Похвально! — сказал он. — Приходи ко мне в воскресенье утром. Посмотришь мой музей.

В воскресенье я надел новенький гимназический костюм и пошёл к Черпунову.

Была поздняя осень, но сирень ещё не пожелтела. С листьев стекал туман.

Внизу на Днепре трубили пароходы. Я поднялся на крыльцо и потянул рукоятку звонка. Внутри флигеля пропел колокольчик. Встречать меня вышел сам Черпунов.

Чудеса начались уже в передней. В овальном зеркале отражался красный от смущения маленький гимназист, пытавшийся расстегнуть озябшими пальцами шинель. Я не сразу понял, что этот гимназист — я сам. Я расстёгивал пуговицы и смотрел на раму от зеркала.

Это была не рама, а венок из стеклянных, бледно окрашенных листьев, цветов и гроздьев винограда.

Венецианское стекло, — сказал Черпунов. — Посмотри поближе.

Можешь даже потрогать.

Я осторожно прикоснулся к стеклянной розе. Стекло было матовое, будто присыпанное пудрой. В полоске света, падавшей из соседней комнаты, оно просвечивало красноватым огнём.

Совсем как рахат-лукум, — заметил я.

Черпунов показал мне на портрет на стене. Он изображал бородастого человека с измождённым лицом.

Ты знаешь, кто это? Один из лучших русских людей. Путешественник Миклухо-Маклай. Он был великий учёный и верил в добрую волю людей.

Он жил один среди людоедов на Новой Гвинее. Безоружный, умирающий от лихорадки. Но он сумел сделать столько добра дикарям и проявить столько терпения, что, когда за ним пришёл наш корвет «Изумруд», чтобы увезти его в Россию, толпы дикарей плакали на берегу, протягивали к корвету руки и кричали: «Маклай, Маклай!» Так вот, запомни: добротой можно добиться всего.

Потом Черпунов показал мне звёздный глобус, старые карты с «розой ветров», чучела колибри с длинными, как маленькие шила, клювами.

Ну, на сегодня довольно, — сказал Черпунов. — Ты устал. Можешь приходить ко мне по воскресеньям.

В следующее воскресенье я не пошёл к учителю, потому что среди недели он заболел и перестал ходить в гимназию.

Совсем скоро учитель умер.

Когда я был уже в старшем классе, преподаватель психологии, говоря нам о плодотворной силе воображения, неожиданно спросил:

Вы помните Черпунова с его водой из разных рек и морей?

Ну как же! — ответили мы. — Великолепно помним.

Так вот, могу вам сообщить, что в бутылках была самая обыкновенная водопроводная вода. Вы спросите, зачем Черпунов вас обманывал? Он справедливо полагал, что таким путём даёт толчок развитию вашего воображения. Черпунов очень ценил его. Несколько раз он упоминал при мне, что человек отличается от животного способностью к воображению. Воображение создало искусство. (б8) Оно раздвинуло границы мира и сознания и сообщило жизни то свойство, что мы называем поэзией.

(По К. Г. Паустовскому\*)

**Константин Георгиевич Паустовский** (1892-1968) — известный русский писатель, классик отечественной литературы.

## Текст 22

Я стоял у окна вагона, бесцельно глядя на бегущий мимо пейзаж, на полустанки и маленькие станции, дощатые домики с названиями чёрным по белому, которые не всегда успевал прочитывать, да и зачем. Поля, перелески, столбы, волны проводов, стога сена, кусты, просёлки — и так час за часом. Рядом, у следующего окна, стоял мальчик. Он смотрел неотрывно. Мать позвала его в купе, он схватил бутерброд и снова прилип к стеклу. Она попробовала усадить его к окну в купе, но он не согласился. Здесь, в коридоре, ему никто не мешал, он был безраздельным хозяином своей подвижной картины. Я уходил, разговаривал со своими спутниками, возвращался и заставлял его в той же позе. Что он там высматривал, как ему не надоело, ведь это было совершенно бессюжетное зрелище, не то что экран телевизора. Теперь я смотрел не в окно, а на него. Кого-то он мне напоминал. Ну конечно, та же поза, те же грязноватые стёкла.

Они-то и помогли мне вспомнить мои детские путевые бдения. С той же жадностью и я ведь простаивал часами перед теми же стёклами, замороженным мельканием путевых картин. Оттуда, не из близи, несущейся навстречу, а из далей, еле плывущих, почти недвижимых пространств, из лесной каймы на горизонте, серых туманных полей возвращались устремлённые к ним детские мечтания. В тех смутных, расплывчатых картинах я был путешественником, был охотником и одновременно медведем, был журавлём, шагающим по болоту...

Бесконечная смена берёзок, елей, лесных проталин, деревень, пашен — и снова лес, просеки, изгороди — всё это тогда почему-то не усыпляло, а возбуждало воображение.

Я растворялся в огромности этой земли, она входила в сознание, откладывалась на всю жизнь. Спустя десятилетия у окна поезда, постукивающего по рельсам Германии, а то и Китая, где каждый клочок обработан, откосы железнодорожных насыпей сплошь засеяны, в моём восприятии присутствовали впитанные детской душой просторы, эти стояния у окна.

Вдруг в бесформенной зыбкости воспоминаний, глядящих из закатного окна, обозначилось что-то. Это был мужик, огромный, в жёлтой рубахе, с колом в руках. Смутно вспомнились станционный палисадник, несколько телег, лошади с холщовыми торбами на мордах. Но всё это: и привокзальная площадь с деревянными мостками, и перрон, и станционный колокол — всё было как бы задником, а впереди, подняв кол, мужик бежал за пареньком, который, прикрыв голову руками, мчался вдоль перрона по ходу поезда. Он бежал, прихрамывая, лицо его было обращено к вагонам, на какой-то миг глаза наши встретились. Ужас был в его взгляде, крик о помощи, а перрон был пуст, мне показалось, что я единственный человек, единственный свидетель, которого он увидел; я наклонился к краю рамы, но в окно уже вошли огороды с чучелами, шлагбаум, и станция исчезла, как исчезали все другие станции. Догонит ли его этот с колом, что будет с ним, за что он его так — ничего этого я никогда не узнаю. Помню своё отчаяние, которое росло оттого, что поезд не останавливается, мчится всё дальше, а там, может, парня догнали и бьют, и никто этого не видит, не знает, и я не могу никого позвать, показать. Кажется, я действительно закричал, побежал к отцу, который был в купе, никто ничего не понял из моих объяснений, и я понял, что ничего не могу им объяснить. Кажется, так оно было, но с уверенностью не могу сказать, да и какое это имеет значение.

Значение же имели огромные глаза этого паренька, мужика того я узнал бы, а от парня остались только ужас, заполнивший всё окно, и невозможность вмешаться, помочь, закричать. И опять пошли перелески, колыхания проводов, песчаные тропки в зелёной траве, голубые поля льна, серебряные — овсов, красные — гречихи, золотистые — ржи, сизые — капусты, ельники, клевера, рыжие стада — огромный мир, который заботливо старался смыть ту случайную картинку. Она затерялась в памяти. Но сейчас, глядя в такое же пыльное, в грязных потёках окно, я с завистью вспомнил своё мальчишеское отчаяние.

(По Д. А. Гранину\*)

*Даниил Александрович Гранин* (1919-2017) — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель.

## Текст 23

Тётя Полли и Гильдегарда взяли крошечный карманный фонарик с рефлектором (для осмотра горла), флакон с какой-то жидкостью и записную книжку и ушли.

Отец предлагал им провожатого, но они не взяли и сказали, что надо зайти подряд в каждую избу.

До вечера было сделано множество вещей: в риге<sup>1</sup> было настлано двадцать семь постелей из сухой костры<sup>2</sup> и на них уложили соответствующее число больных людей, освободив крестьянские избы. При этой «эвакуации» насилий не было, но имели своё место энергия и настойчивость обеих женщин, которые сами при этом работали в поте лица и не пришли обедать до тёмного вечера.

Матушка долго и напрасно ждала их и сердилась. Обед весь перестоялся и был испорчен. Отец стыдился покинуть тётю и англичанку одних с больными мужиками и бабами и тоже оставался в риге: он помогал им раскладывать больных и защищать их от сквозного ветра в импровизированном для них бараке.

Отец, тётя Полли и Гильдегарда пришли в дом, когда уже был вечер, и ели скоро и с аппетитом, а говорили мало. На лицах у обеих женщин как будто отпечаталось то выражение, какое они получили в ту минуту, когда тётя проговорила:

— Это ужасно: круглый голод — голод ума, сердца и души... И тогда уже — полный голод!

Ни тётя Полли, ни Гильдегарда не были теперь разговорчивы, даже отвечали сухо, как бы неохотно.

Мать им сказала:

Извините за обед... Он весь перешёл — вы сами виноваты, что дотянули обед до звезды.

Гильдегарда её, кажется, не поняла; но тётя, разумеется, поняла, но небрежно ответила:

До звезды!.. Ах да... и ты права: мы в самом деле очень любим звёзды... их видеть так отрадно. Там ведь, без сомнения, живут другие существа, у которых, может быть, нет столько грубых нужд, как у нас, и потому они, должно быть, против нас лучше, чище, меньше самолюбивы и больше сострадательны и добры...

Но ведь это фантазия, — заметила мама.

Тётя ей не отвечала.

Притом мы все очень грешны — зачем нам мечтать так высоко! — молвила мать, конечно без всякого намёка для тётки.

Тётя её слышала и произнесла тихо:

Надо подниматься.

Да ведь как это сказать...

Матушка, кажется, побоялась сбиться с линии, а тётя ничего более не говорила: она озабоченно копошилась, ища что-то в своём дорожном бауле, а Гильдегарда в это время достала из тёмного кожаного футляра что-то такое, что я принял за ручную аптечку, и перешла с этим к окну, в которое смотрелось небо, усеянное звёздами.

Мама вышла. Тётя закрыла баул, подошла к столу, на котором горели две свечки, и обе их потушила, а потом подошла к англичанке и тихо её обняла. Они минуту стояли молча, и вдруг по комнате понеслись какие-то прекрасные и до сей поры никому из нас не знакомые звуки. То, что я принял за ручную аптечку, была концертная<sup>1</sup>, в её тогдашней примитивной форме, но звуки её были полны и гармоничны, и под их аккомпанемент Гильдегарда и тётя запели тихую песнь — англичанка пела густым контральто, а тётя Полли высоким фальцетом.

Я был поражён тихой гармонией этих стройных звуков, так неожиданно наполнивших дом наш, а простой смысл дружественных слов песни пленил моё понимание. Я почувствовал необыкновенно полную радость оттого, что всякий человек сейчас же может вступить в настроение, для которого нет расторгающего значения времени и пространства.

О, какая это была минута! Я уткнулся лицом в спинку мягкого кресла и плакал впервые слезами неведомого мне до сей поры счастья, и это довело меня до такого возбуждения, что мне казалось, будто комната наполняется удивительным тихим светом и свет этот плывёт сюда прямо со звёзд, пролетает в окно, у которого поют две пожилые женщины, и затем озаряет внутри меня моё сердце, а в то же время все мы — и голодные мужики, и вся земля — несёмся куда-то навстречу мирам...

Этот вечер, который я вспоминаю теперь, когда голова моя значительно укрыта снегом житейской зимы, кажется, оказал влияние на всю мою жизнь.

(По Н. С. Лескову\*)

**Николай Семёнович Лесков** (1831-1895) — русский писатель, драматург, автор известных романов, повестей и рассказов.

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто её строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, лёгкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определённого архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой сверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, — она походила бы на здания в стиле модерн, если бы в её плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окружённая цветником...

Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад ещё очень молодой. Росли в нём груши и яблоньчики, абрикосы, персики, миндаль.

В последние годы сад уже начал приносить кое-какие плоды, доставляя Антону Павловичу много забот и трогательного, какого-то детского удовольствия. Когда наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в чеховском саду. Лежали они обыкновенно маленькой горкой в гостиной на подоконнике...

Антон Павлович с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдёргивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец шёл дождь, наполнявший водой запасные глиняные цистерны!

Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами:

— Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево. И конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришёл и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? — прибавлял он вдруг с серьёзным лицом, тоном глубокой веры. — Знаете ли, через триста-четырееста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна.

Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его душевных, наиболее лелеемых мыслей. Как часто, должно быть, думал он о будущем счастье человечества, когда по утрам, один, молчаливо подрезал свои розы, еще влажные от росы, или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. И сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения!

Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это не было ни жадное любопытство к тому, что будет после него, ни завистливая ревность к далёким поколениям.

Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости — от всего ужаса и темноты современных будней. И потому-то под конец его жизни, когда пришла к нему огромная слава, и сравнительная обеспеченность, и преданная любовь к нему всего, что было в русском обществе умного, талантливого и честного, — он не замкнулся в недостижимости холодного величия, не впал в пророческое учительство, не ушёл в ядовитую и мелочную вражду к чужой известности.

Нет, вся сумма его большого и тяжёлого житейского опыта, все его огорчения, скорби, радости и разочарования выразились в этой прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом счастье.

— Как хороша будет жизнь через триста лет!

И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, прилагаемыми человеческим умом и знанием. Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скучал в обществе специалистов.

Он с твёрдым убеждением говорил о том, что преступления вроде убийства, воровства и прелюбодеяния совершаются всё реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей, докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая, истинная культура облагородит человечество.

(По А. И. Куприну\*)

*Александр Иванович Куприн* (1870-1938) — русский писатель, переводчик.



## Текст 25

Я изъездил почти всю страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце, но ни одно из них не обладало такой внезапной лирической силой, как Михайловское.

Летний праздник бывает в Михайловском каждый год в день рождения Пушкина. Сотни колхозных телег, украшенных лентами и валдайскими бубенцами, съезжаются на луг за Соротью, против пушкинского парка. Все местные колхозники гордятся земляком Пушкиным и берегут заповедник, как свои огороды и поля.

В Тригорском парке я несколько раз встречал высокого человека. Он бродил по глухим дорожкам, останавливался среди кустов и долго рассматривал листья.

Иногда срывал стебель травы и изучал его через маленькое увеличительное стекло.

Как-то около пруда меня застал крупный дождь. Я спрятался под липой, и туда же не спеша пришёл высокий человек. Мы разговорились. Человек этот оказался учителем географии из Череповца.

Вы, должно быть, не только географ, но и ботаник? — сказал я ему. — Я видел, как вы рассматривали растения.

Высокий человек усмехнулся.

Нет, я просто люблю искать в окружающем что-нибудь новое. Здесь я уже третье лето, но не знаю и малой доли того, что можно узнать об этих местах.

Второй раз мы встретились на берегу озера Маленец, у подножия лесистого холма. Высокий человек лежал в траве и рассматривал сквозь увеличительное стекло голубое перо сойки. Я сел рядом с ним, и он рассказал мне историю своей привязанности к Михайловскому.

Мой отец служил бухгалтером в больнице в Вологде. В общем, был жалкий старик — пьяница и хвостун. Даже во время самой отчаянной нужды он носил застиранную крахмальную манишку, гордился своим происхождением. Нас было шестеро детей. Жили мы все в одной комнате, в грязи и беспорядке.

Когда отец выпивал, он начинал читать стихи Пушкина и рыдать. Слёзы капали на его крахмальную манишку, он мял её, рвал на себе и кричал, что Пушкин — это единственный луч солнца в жизни таких несчастных нищих, как мы. Он не помнил ни одного пушкинского стихотворения до конца. Он только начинал читать, но ни разу не окончил. Это меня злило, хотя мне было тогда всего восемь лет. Я решил прочесть пушкинские стихи до конца и пошёл в городскую библиотеку. Я долго стоял у дверей, пока библиотекарша не окликнула меня и не спросила, что мне нужно.

Пушкина, — сказал я грубо.

Ты хочешь сказки? — спросила она.

Нет, не сказки, а Пушкина, — повторил я упрямо.

Она дала мне толстый том. Я сел в углу окна, раскрыл книгу и заплакал. Я заплакал потому, что только сейчас, открыв книгу, я понял, что не могу прочесть её, что я совсем ещё не умею читать и что за этими строчками прячется заманчивый мир, о котором рыдал пьяный отец. Со слов отца я знал тогда наизусть всего две пушкинские строчки: «Я вижу берег отдалённый, земли полуденной волшебные края», но этого для меня было довольно, чтобы представить себе иную жизнь, чем наша.

Вообразите себе человека, который десятки лет сидел в одиночке. Наконец ему устроили побег, достали ключи от тюремных ворот, и вот он, подойдя к воротам, за которыми свобода, и люди, и леса, и реки, вдруг убеждает, что не знает, как этим ключом открыть замок. Громадный мир шумит всего в сантиметре за железными листами двери, но нужно знать пустяковый секрет, чтобы открыть замок, а секрет этот беглецу неизвестен. Он слышит тревогу за своей спиной, знает, что его сейчас схватят и что до смерти будет то же, что было: грязное окно под потолком камеры и отчаяние. Вот примерно то же самое пережил я над томом Пушкина.

С тех пор я полюбил Пушкина. Вот уже третий год приезжаю в Михайловское...

На вершине холма, у обветшалых стен собора, над крутым обрывом, в тени лип, на земле, засыпанной пожелтевшими лепестками, белеет могила Пушкина.

Короткая надпись «Александр Сергеевич Пушкин», безлюдье, стук телег внизу под косогором и облака, задумавшиеся в невысоком небе, — это всё. Здесь конец блистательной, взволнованной и гениальной жизни. Здесь тот «милый предел», о котором Пушкин говорил ещё при жизни. И здесь, на этой простой могиле, куда долетают хриплые крики петухов, становится особенно ясно, что Пушкин был первым народным поэтом.

(По К. Г. Паустовскому\*)

**Константин Георгиевич Паустовский** (1892-1968) — известный русский писатель, классик отечественной литературы.

На окраине села, возле издолблённой осколками, пробитой снарядами колхозной клуни<sup>1</sup>, крытой соломой, толпился народ. У широко распахнутого входа в клуню нервно перебирали ногами тонконогие кавалерийские лошади, запряжённые в крестьянские дровни. И откуда-то с небес или из-под земли звучала музыка, торжественная, жуткая, чужая. Приблизившись к клуне, пехотинцы различили, что народ возле клуни толпился непрстой: несколько генералов, много офицеров и вдруг обнаружился командующий фронтом.

Ну занесла нас нечистая сила... — заворчал комроты Филькин.

У Бориса Костяева похолодело в животе, потную спину скоробило: командующего, да ещё так близко, он никогда не видел. Взводный начал торопливо поправлять ремень, развязывать тесёмки шапки. Пальцы не слушались его, дёрнул за тесёмку — с мясом оторвал её. Он не успел заправить шапку ладом. Майор в жёлтом полушубке, с португеей через оба плеча, поинтересовался, кто такие.

Комроты Филькин доложил.

Следуйте за мной! — приказал майор.

Командующий и его свита посторонились, пропуская мимо себя мятых, сумрачно выглядевших солдат-окопников. Командующий прошёлся по ним быстрым взглядом и отвёл глаза. Сам он, хотя и был в чистой долгополой шинели, в папахе и поглаженном шарфе, выглядел среди своего окружения не лучше солдат, только что вылезших с переднего края. Глубокие складки отвесно падали от носа к строго сжатым губам. Лицо его было воскового цвета, сматое усталостью. И в старческих глазах, хотя он был ещё не старик, далеко не старик, — усталость, всё та же безмерная усталость. В свите командующего слышался оживлённый говор, смех, но командующий был сосредоточен на своей какой-то невесёлой мысли. И всё звучала музыка, хрипя, изнемогая, мучаясь.

По фронту ходили всякого рода легенды о прошлом и настоящем командующего, которым солдаты охотно верили, особенно одной из них. Однажды он якобы напоролся на взвод пьяных автоматчиков и не отправил их в штрафную, а долго вразумлял.

Вы поднимитесь на цыпочки — ведь Берлин уж видно! Я вам обещаю: как возьмём его — пейте сколько влезет! А мы, генералы, вокруг вас караулом стоять будем! Заслужили! Только дюжьте, дюжьте...

Что это? — поморщился командующий. — Да выключите вы музыку!

Следом за майором стрелки вошли в клуню, проморгались со свету...

На снопах белой кукурузы, засыпанной трухой соломы и глиняной пылью, лежал погибший немецкий генерал в мундире с яркими колодками орденов, тусклым серебряным шитьём на погонах и на воротнике. В углу клуни, на опрокинутой веялке, накрытой ковром, стояли телефоны, походный термос, маленькая рация с наушниками. К веялке придвинуто глубокое кресло с просевшими пружинами, а на нём — скомканный клетчатый плед, похожий на русскую бабью шаль.

Возле генерала стоял на коленях немчик в кастрюльного цвета шинели, в старомодных, антрацитно сверкающих ботфортах, в пилотке, какую носил ещё Швейк, только с пришитыми меховыми наушниками.

Перед ним, на опрокинутом ящике, хрипел патефон, старик немец крутил ручку патефона, и по лицу его безостановочно катились слёзы...

Командующий с досадой шмыгнул носом. Повелительно приказал:

Схоронить генерала, павшего на поле боя, со всеми воинскими почестями: домовину, салют и прочее. Хотя прочего не можем, — командующий отвернулся, опять пошмыгал носом. — Панихиду по нему в Германии справят. Много панихид.

Кругом сдержанно посмеялись.

Его собакам бы скормить за то, что людей стравил. За то, что Бога забыл.

Какой тут Бог? — поник командующий, утирая нос рукавицей. — Если здесь не сохранил, — потыкал он себя рукавицей в грудь, — нигде больше не сыщешь.

Борису нравилось, что сам командующий фронтом, от которого веяло спокойной, устоявшейся силой, давал такой пример благородного поведения, но в последних словах командующего просквозило такое запёкшееся горе, такая юдоль человеческая, что ясно и столбу сделалось бы, умей он слышать: игра в благородство, агитационная иль ещё какая показуха, спектакли неуместны после того, что произошло вчера ночью и сегодняшним утром здесь, в этом поле, на этой горестной земле. Командующий давно отучен войной притворяться, выполнял он чей-то приказ, и всё это было ему не по нутру, много других забот и неотложных дел ждало его, и он досадовал, что его оторвали от этих дел.

Мёртвых и пленных генералов он, должно быть, навиделся вдосталь.

Командующий что-то буркнул, резко отвернулся, натянул папаху на уши и, по-крестьянски бережно подоткнув полы шинели под колени, устроился в санях.

Что-то взъерошенное и в то же время бесконечно скорбное было в узкой и совсем не воинственной спине командующего, и даже в том, как вытирал он однопалой солдатской рукавицей простуженный нос, виделась человеческая незащищённость.

Так и не обернувшись больше, он поехал по полю. Сани качало и подбрасывало на бугорках, полозьями обнажало трупы.

Кони вынесли пепельно-серую фигуру командующего на танковый след и побежали бойчее к селу, где уже рычали, налаживая дорогу, тракторы и танки. И когда за сугробами скрылись лошади и тоскливая фигура командующего, все долго подавленно молчали.

(По В.П. Астафьеву\*)

**Виктор Петрович Астафьев** (1924-2001) — советский и российский писатель, драматург, эссеист.

## Текст 27

В спорах о современном стиле часто проскальзывает или нарочито заостряется мысль о какой-то ультрасовременной телеграфной краткости прозы. Порой спорщики пекутся о времени нашего читателя, которому «не поднять толстый роман», ибо есть полуторачасовое кино, телевизор и иные технические чудеса XX века.

Современен ли Толстой с его многотомными романами, с его подробнейшими описаниями состояния и чувств человека, с его детальнейшим исследованием души в её тончайших проявлениях? Разумеется, вопрос этот смешон, применимый к гению — к художнику, имя которого, видимо, знают или слышали все на нашей планете.

Толстой волновал современников и будет волновать ещё многие поколения потомков до тех пор, пока человек будет человеком, пока будут существовать общество, жизнь и смерть, добро и зло, любовь к детям и женщине, стремление к самосовершенствованию, то есть к воспитанию таких черт в человеке, которые делают его добрым властелином мира.

Гению Толстого свойственно проникать в глубины природы, а значит, в глубины человеческого сознания. Его глаза видели то, что не видели другие, его проникновение в психологию и, следовательно, в природу настолько гениально, всеобъемно, что мы порой говорим: «Толстой написал всю психологию человека».

Все изменения человеческого чувства Толстой показывал, раскрывал посредством своего мускулистого, точного языка, посредством крепкой и многопериодной фразы, где была некоторая нарочитая угловатость и в то же время естественность, за которой уже исчезает язык как инструмент литературы и остаётся живая жизнь, ощущение чувства, движение души. Углубляясь в чтение Толстого, вы почти никогда не замечаете, сколько раз повторено во фразе «что», «как» и «который», — вы поглощены течением толстовских мыслей, неожиданных и одновременно естественных открытий человеческой психологии, равных великим открытиям законов природы и общества. Гениальный художник никогда не поражал нас и, видимо, не хотел поражать «обнажённым мастерством», той выпирающей щеголеватостью фразы, что была свойственна, например, Бунину, который покоряет нас серебряной чеканкой мастерства. Невозможно объяснить, как достигает этого Толстой, но язык его настолько непосредствен, что как бы исчезает сама фраза, заслоняясь огромной мыслью. И это свойство величайшего гения — искусство становится не отражением жизни, а самой жизнью...

Толстой, как известно, писал и лаконичные, и большие вещи, но он всегда был краток. Он подымал такие пласты психологии, он развёртывал такие общественные события, он описывал такие характеры, что «Война и мир» кажется весьма коротким произведением.

Изображая нашу сложнейшую и невиданную в истории человечества эпоху, мы должны каждодневно учиться этой краткости, этой глубине и художнической смелости художника-гиганта.

(По Ю. В. Бондареву\*)

**Юрий Васильевич Бондарев** (1924-2020) — русский советский писатель, сценарист, общественный деятель.

## Текст 28

Лучше всего Левитана можно понять и крепче всего полюбить в глубинах страны, столкнувшись лицом к лицу со всем, что было его поэзией.

Первая «встреча» с Левитаном произошла у меня в Третьяковской галерее. Но более всего запомнилась ещё одна из многочисленных, если можно так сказать, «внутренних» встреч с художником. Этих встреч на самом деле не было, но часто возникало ощущение, что Левитан был только что здесь, что, конечно, только он мог показать нам те великолепные уголки страны, которые сияют в бледной синеве неба, молчат вместе с безветренными водами рек и озёр и откликаются эхом на крики кочующих птиц.

Эта встреча случилась в лесистой и пустынной стороне недалеко от Москвы. Места были глухие, почти бездорожные. Мне пришлось ехать в телеге и переправляться через лесные реки на пароме.

Кончалась весна. Зеленоватое ночное небо слабо светилось над серыми лесами. Воздух был пропитан холодноватым запахом мокрых доцветающих трав.

Я уснул в телеге. Проснулся я оттого, что телега, закрипев, остановилась на песчаном спуске к реке и возница лениво закричал:

Эй, Семён, давай перевоз!

Ладно, ладно! — ответил из тумана хриплый голос. — Тоже торопыга нашёлся. Всех птах мне распугаешь. Невежа и есть невежа!

Во беда! — шутиливо сказал возница. — Хоть не ездь через этот чёртов паром, через Птичий угол. Тут верно — соловьиное царство!

Мы помолчали. За рекой в чёрных ночных вершинах деревьев начинало светать.

Слабый и чистый свет зари появился в небе. Низко, над самым краем земли, висел прозрачный слабый месяц. «Вот — Левитан!» — почему-то подумал я, и у меня, как в молодости, заколотилось сердце.

Вокруг было очень тихо. Очевидно, перевозчик ещё не надумал перевозить нас. Только один раз он зевнул.

Внезапно в зарослях что-то осторожно звякнуло, будто колокольчик. И тотчас высокая трель ударила по чёрной воде и рассыпалась среди зарослей кувшинок.

Соловей замолчал, прислушался, потом пустил по реке странные и смешные звуки, будто он полоскал себе горло ночной росой.

Во, слышали? — спросил возница. — Это он разгон пока что берёт. А потом как развернётся — одна красота!

Невежа! — неожиданно сказал из тумана хриплый голос. — Только и ждали тебя, объяснителя. Дай послушать! Он сейчас даст «лешеву дудку», так ты свою лошадедку держи — как бы не разнесла.

Возница не обиделся. Он только шёпотом сказал мне:

Сейчас самое будет начало.

И действительно, по всем берегам в зарослях лозы ударили, как по команде, соловьи,

И утро, казалось, начало от этого разгораться быстрее. И уже была видна нежнейшая алая гряда небольших облаков, что висела с ночи над всем этим лесным краем.

Соловиный гром нарастал. Заря открыла свои смутные дали. Тогда оказалось, что на востоке, за частоколом лесных вершин, лежит тихая и лучезарная страна, которой нет названия. И я снова, сам не понимая почему, подумал: «Левитановская заря...»

Потом мы переехали через реку и немного посидели около шалаша перевозчика.

Он с гордостью показал мне своё последнее изобретение — круглую узкую яму, выложенную ветками лозы.

— Вот! — сказал перевозчик. — Последняя моя модель. У вас в Москве холодильники — и у меня холодильник. Ты засунь руку, попробуй. Мороз! Дочка мне молоко приносит. Оно тут не киснет нисколько. Вот она, дочка, глупышка отчаянная.

Я оглянулся и увидел маленькую спящую девочку на лежанке из досок.

Она усмехалась во сне. Первый луч солнца, густой, как мазок оранжевого золота, упал на сухие ветки шалаша. Девочка вздохнула. И я подумал, что вся страна похожа на эту девочку — такая же льняная, сероглазая, застенчивая, жалостливая и весёлая. И снова я вспомнил о Левитане с благодарностью и грустью.

За рекой потянулся сосновый лес. Всё в нём было очень приветливо, даже самые скромные, самые обыкновенные замухрышки — липкие сыроежки и беленькие цветы земляники. Я снова подумал о Левитане, о том, что в родной земле всё хорошо, вплоть до этого слабенького лесного цветка. Если бы нам сказали, что больше мы никогда его не увидим, у многих людей сердце сжалось бы от боли...

(По К. Г. Паустовскому\*)

**Константин Георгиевич Паустовский** (1892-1968) — известный русский писатель, классик отечественной литературы.

## Текст 29

Как же я всё-таки выбрал то образование, которое в итоге получил (и другого у меня нет)? Я помню процесс выбора и помню все возможные варианты. Весело об этом вспоминать. Очень весело.

Бабушка и дедушка, по отцу, были у меня биологами, а если точнее, ихтиологами.

Когда-то давно, сразу после войны, они окончили Томский университет...

Сызмальства мне давали листать большие тома «Жизнь животных», где было много картинок и фотографий.

Больше всего мне нравился том с насекомыми.

Как сейчас помню, притащу я найденного во дворе и быстро замученного детской заботой жука, червяка или бабочку домой, и все умильно охают:

— Вот! Наша порода! В нас пойдёт! — гордо говорил дед. — Будешь биологом? Будешь жучков изучать?

Я, наверное, кивал или давал утвердительный ответ...

В школе сразу стало ясно, что меня к точным наукам не тянет.

Когда я учился в более старших классах, родители уже преподавали в высшей школе. Мама преподавала теплотехнику и термодинамику. А отец работал в университете заведующим кафедрой на экономическом факультете. Но алгебра, геометрия и физика были самыми тёмными для меня предметами. Родители даже и не намекали и сами понимали, что по их стопам я пойти не смогу...

А кстати, чего я хотел?

Я точно не хотел уезжать учиться куда-нибудь в другой город. Я хотел жить дома, я не хотел и опасался бытовых трудностей. А хотел я... Не знаю, чего я хотел. Ничего определённого. Мне хотелось быть студентом. Хотелось весёлой, интересной жизни, хотелось, чтобы учиться было не очень трудно и не очень скучно...

Первым делом я пошёл на день открытых дверей биологического факультета.

Мне казалось, что, как только я приду на биофак, бабушкины и дедушкины гены взиграют — ия пойму, что лучшего выбора сделать просто нельзя. А если мне ещё скажут, что в перспективе будут экспедиции, научные эксперименты, если мне помогут дорисовать образ учёного-биолога, который мною был почти нарисован, и этот образ сильно напоминал жюль-верновского Паганеля, то я отброшу всякие сомнения...

После дня открытых дверей я был весьма озадачен. Я ехал домой и думал, что же мне не понравилось. Не лягушек же препарированных я пожалел, в самом деле. Что же не то? И я понял, что не встретил там, в лабораториях и аудиториях, ни одного человека, который совпал бы с моим представлением о том, как должен выглядеть учёный. Всё было нормально, тихо, деловито, как в поликлинике. Романтики я не увидел, точнее, я не увидел ни одного романтика. А потом я ещё подумал и понял, что лягушек мне всё-таки очень жалко.

В марте я посетил мероприятие, целью которого было завлечь будущих выпускников школ на факультет романо-германской филологии. Я посетил его.

Мне понравилось. Это было хорошо организованное мероприятие.

С дня открытых дверей факультета романо-германской филологии я поехал домой довольный. На факультет русской филологии я думал тогда даже и не ходить. Опять склонения, падежи... Не хотел я изучать русский язык. Да и изучение литературы было для меня связано с изложениями и сочинениями на скучные и далёкие для меня темы.

Так или иначе, в апреле я потащился осмотреть последний вариант учёбы, профессии и пути, возможный в моей жизненной ситуации и в моём городе.

Ехал я через весь город в университет очень спокойно, чтобы совершить формальность, снять все возможные сомнения и быть чистым перед родителями, ну... и перед собой.

Возле деканата филологического факультета нам сказали, что нужно пройти в библиотеку в зал периодической литературы и подождать.

В библиотеке было здорово! Мне понравилось сразу. Там приятно пахло, было тихо, но небеззвучно. Там все были заняты делом, старались никому не мешать и, казалось, уважали ближнего.

Через небольшую паузу зашёл в зал периодики он.

Он не сразу вошёл. Он в дверях остановился, оглядев нас внимательно, очень искренне улыбнулся, кивнул и беззвучно прошевелил губами «здравствуйте».

Я увидел немолодого человека, ростом чуть выше среднего, крепкого телосложения. Вся его одежда была как из кино, а не из местных магазинов или с местного рынка. Всё это ему очень шло и очень нравилось мне.

Позвольте представиться, меня зовут Михаил Николаевич Дарвин. Я работаю здесь в университете доцентом кафедры теории литературы. Так что, боюсь, с тем самым Дарвином мы, в смысле научных интересов, даже не однофамильцы.

Я хохотнул, и стоящий перед нами Дарвин тут же нашёл мои глаза и едва заметно улыбнулся мне.

Чем же мы будем заниматься на филологическом факультете? Что мы с вами будем делать пять лет вашей учёбы и нашего преподавания? Знаете, это не так уж легко сказать. Чем мы будем заниматься? Книжки будем читать! Вот вы поступите, и мы с первого курса начнём читать книги. Но очень много! Представляете, сколько книжек с античных времён и по сегодняшней день написали люди? Мы будем с вами такими профессиональными читателями. Профессиональными! А ещё мы будем обсуждать прочитанное. Будем пытаться понять, что написано в книжке, зачем её писатель написал, как он её писал, — он остановился посередине зала, снова повернулся к нам. — Знаете, это же хорошее занятие — читать книги. Правда, мы будем читать очень много и очень внимательно. Но если вы сюда пришли, вы, наверное, любите это занятие? Потому что если вы не любите читать книги, то поступать на

филологический факультет не стоит. Вот я уже давно читаю книги, и чем больше их читаю, тем больше мне это нравится...

Не в силах сразу покинуть университет и выйти на улицу, где было ещё по-сибирски холодно и талый снег сочился ручьями, я зашёл в буфет. Потом вышел на крыльцо и увидел Дарвина. Он весело разговаривал с дамой, которая рассказывала нам про факультет романо-германской филологии.

Совершенно не был готов! — говорил он. — Наговорил каких-то глупостей. Напугал, наверное, детей. Ох, не знаю я, как нужно с ними говорить. Боюсь, что никого из тех, кто сегодня приходил, я не увижу. Вечно со мной так. Хотел сказать одно, а сказал другое. Ну что же теперь поделаешь?! А жаль!

По стопам бабушки и дедушки я не пошёл, но думаю (и мне весело об этом думать), что им забавно было бы знать, что учился я у Дарвина.

(По Е. В. Гришковцу\*)

**Евгений Валерьевич Гришковец** (род. в 1967 г.) — российский писатель, драматург, театральный режиссёр.

### Текст 30

Среди оборванных старух, стариков и детей особенно странно выглядели на этой дороге молодые женщины в модных пальто, жалких и пропылённых, с модными, сбившимися набор пыльными причёсками. А в руках узлы, узелки, узелочки; пальцы судорожно сжаты и дрожат от усталости и голода.

Всё это двигалось на восток, а с востока навстречу по обочинам шоссе шли молодые парни в гражданском, с фанерными сундучками, с дерматиновыми чемоданчиками, с заплечными мешками, — шли мобилизованные, спешили добраться до своих заранее назначенных призывных пунктов, не желая, чтоб их сочли дезертирами, шли на смерть, навстречу немцам. Их вели вперёд вера и долг; они не знали, где на самом деле немцы, и не верили, что немцы могут оказаться рядом раньше, чем они успеют надеть обмундирование и взять в руки оружие... Это была одна из самых мрачных трагедий тех дней — трагедия людей, которые умирали под бомбёжками на дорогах и попадали в плен, не добравшись до своих призывных пунктов.

А по сторонам тянулись мирные леса и рощицы. Синцову в тот день врезалась в память одна простая картина. Под вечер он увидел небольшую деревушку.

Она раскинулась на низком холме; тёмно-зелёные сады были облиты красным светом заката, над крышами избушки курились дымки, а по гребню холма, на фоне заката, мальчишки гнали в ночное лошадей. Деревенское кладбище подступало совсем близко к шоссе. Деревня была маленькая, а кладбище большое — целый холм был в крестах, обломанных, покосившихся, старых, вымытых дождями и снегами.

И эта маленькая деревня, и это большое кладбище, и несоответствие между тем и другим — всё это, вместе взятое, потрясло душу Синцова. От острого и болезненного чувства родной земли, которая где-то там, позади, уже истоптана немецкими сапогами и которая завтра может быть потеряна и здесь, разрывалось сердце. То, что видел Синцов за последние два дня, говорило ему, что немцы могут прийти и сюда, но, однако, представить себе эту землю немецкой было невозможно.

Такое множество безвестных предков — дедов, прадедов и прапрадедов — легло под этими крестами, один на другом, веками, что эта земля была своей вглубь на тысячу сажен и уже не могла, не имела права стать чужой.

Никогда потом Синцов не испытывал такого изнурительного страха: что же будет дальше?! Если всё так началось, то что же произойдёт со всем, что он любит, среди чего рос, ради чего жил: со страной, с народом, с армией, которую он привык считать непобедимой, с коммунизмом, который поклялись истребить эти фашисты, на седьмой день войны оказавшиеся между Минском и Борисовом?

Он не был трусом, но, как и миллионы других людей, не был готов к тому, что произошло. Большая часть его жизни, как и жизни каждого из этих людей, прошла в лишениях, испытаниях, борьбе, поэтому, как выяснилось потом, страшная тяжесть первых дней войны не смогла раздавить его души, как не смогла раздавить и души других людей. Но в первые дни эта тяжесть многим из них показалась нестерпимой, хотя они же сами потом и вытерпели её.

(По К. М. Симонову\*)

\* **Константин Михайлович Симонов** (1915-1979) — советский прозаик и поэт, драматург и киносценарист; общественный деятель, журналист, военный корреспондент.



## Текст 31

Есть неоспоримые истины, но они часто лежат втуне, никак не отзываясь на человеческой деятельности, из-за нашей лени или невежества.

Одна из таких неоспоримых истин относится к писательскому мастерству, в особенности к работе прозаиков. Она заключается в том, что знание всех смежных областей искусства — поэзии, живописи, архитектуры, скульптуры и музыки — необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придаёт особую выразительность его прозе. Она наполняется светом и красками живописи, свежестью слов, характерной для поэзии, соразмерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и ритмом и мелодичностью музыки.

Это всё добавочные богатства прозы, как бы её дополнительные цвета.

Я не верю писателям, не любящим поэзию и живопись. В лучшем случае это люди с несколько ленивым и высокомерным умом, в худшем — невежды.

Писатель не может пренебрегать ничем, что расширяет его видение мира, конечно, если он \* мастер, а не ремесленник, если он создатель ценностей, а не обыватель, настойчиво высасывающий благополучие из жизни, как жуют американскую жевательную резинку.

Часто бывает, что после прочитанного рассказа, повести или даже длинного романа ничего не остаётся в памяти, кроме сутолоки серых людей. Мучительно стараешься увидеть этих людей, но не видишь, потому что автор не дал им ни одной живой черты.

И действие этих рассказов, повестей и романов происходит среди какого-то студенистого дня, лишённого красок и света, среди вещей только названных, но не увиденных автором и потому нам, читателям, не показанных.

Несмотря на современность темы, беспомощностью веет от этих вещей, написанных зачастую с фальшивой бодростью. Ею пытаются подменить радость, в особенности радость труда.

Причина этой тоскливости не только в эмоциональной скудости и неграмотности автора, но и в его вялом, рыбьем глазе.

Такие повести и романы хочется разбить, как наглухо заклеенное окно в душной и пыльной комнате, чтобы со звоном полетели осколки и сразу же хлынули снаружи ветер, шум дождя, крики детей, гудки паровозов, блеск мокрых мостовых, — ворвалась бы вся жизнь с её беспорядочной на первый взгляд и прекрасной пестротой света, красок и шумов.

У нас немало книг, написанных как будто слепыми. Предназначены они для зрячих, и в этом заключается вся нелепость их появления.

Для того чтобы прозреть, нужно не только смотреть по сторонам. Нужно научиться видеть. Хорошо может видеть людей и землю только тот, кто их любит. Стёртость и бесцветность прозы часто бывает следствием холодной крови писателя, грозным признаком его омертвения. Но иногда это простое неумение, свидетельствующее о недостатке культуры. Тогда это дело, как говорится, поправимое.

Как видеть, как воспринимать свет и краски — этому могут научить нас художники. Они видят лучше нас. И умеют помнить увиденное.

Когда я был ещё юным писателем, знакомый художник сказал мне:

Вы, мой милый, ещё не совсем ясно видите. Несколько мутновато. И грубо. Судя по вашим рассказам, вы замечаете только основные цвета и сильно окрашенные поверхности, а переходы и оттенки сливаются у вас в нечто однообразное.

Что же я могу поделать! — ответил я, оправдываясь. — Такой уж глаз.

Ерунда! Хороший глаз — дело наживное. Поработайте, не ленитесь, над зрением. Держите его, как говорится, в струне. Попробуйте месяц или два смотреть на всё с мыслью, что вам это обязательно надо написать красками.

В трамвае, в автобусе, на улице — всюду смотрите на людей именно так.

И через два-три дня вы убедитесь, что до этого вы не видели на лицах и десятой доли того, что заметили теперь. А через два месяца вы научитесь видеть, и вам уже не надо будет понуждать себя к этому.

Я послушался художника, и действительно — и люди, и вещи оказались гораздо интереснее, чем раньше, когда я смотрел на них бегло и торопливо.

И меня охватило едкое сожаление о глупо потраченном времени. Сколько бы я мог увидеть за прошлые годы превосходных вещей! Сколько интересного необратимо ушло, и его уже не воскресить!

Это был первый урок, который я получил от художника.

(По К. Г. Паустовскому\*)

**Константин Георгиевич Паустовский** (1892-1968) — известный русский писатель, классик отечественной литературы.

К сожалению, наши обильные разговоры о нравственности часто носят слишком общий характер. А нравственность... Она состоит из конкретных вещей — из определённых чувств, свойств, понятий.

Одно из таких чувств — чувство милосердия. Термин несколько устаревший, непопулярный сегодня и даже как будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто свойственное лишь прежним временам. «Сестра милосердия», «брат милосердия» — даже словарь даёт их как «устар.», то есть устаревшие понятия.

В Ленинграде, в районе Аптекарского острова, была улица Милосердия. Сочли это название отжившим, переименовали в улицу Текстилей.

Изъять милосердие — значит лишить человека одного из важнейших действенных проявлений нравственности. Это древнее необходимое чувство свойственно всему животному сообществу, птичьему: милость к поверженным и пострадавшим. Как же так получилось, что чувство это у нас заросло, заглохло, оказалось запущенным?

Мне можно возразить, приведя немало примеров трогательной отзывчивости, соболезнования, истинного милосердия. Примеры такие есть, и тем не менее мы ощущаем, и давно уже, убыль милосердия в нашей жизни. Если бы можно было произвести социологическое измерение этого чувства...

Милосердие изничтожалось неслучайно. Во времена раскулачивания, в тяжкие годы массовых репрессий никому не позволяли оказывать помощь семьям пострадавших, нельзя было приютить детей арестованных, сосланных. Люд ей заставляли высказывать одобрение смертным приговорам. Даже сочувствие невинно арестованным запрещалось. Чувства, подобные милосердию, расценивались как подозрительные, а то и преступные. Из года в год чувство это осуждали, вытравливали: оно-де аполитичное, не классовое, в эпоху борьбы мешает, разоружает...

Его сделали запретным и для искусства. Милосердие действительно могло мешать беззаконию, жестокости, оно мешало оговаривать, нарушать законность, сажать, избивать, уничтожать. Тридцатые годы, сороковые — понятие это исчезло из нашего лексикона. Исчезло оно и из обихода, ушло как бы в подполье. «Милость к падшим» оказывали таясь и рискуя...

Уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. Уверен, что это врождённое, данное нам вместе с инстинктами, с душой. Но если это чувство не используется, не упражняется, оно слабеет. И исчезает.

Упражняется ли милосердие в нашей жизни?.. Есть ли постоянная принуда для этого чувства? Толчок, призыв к нему?

Вспомнилось мне, как в детстве отец, когда мы проходили мимо нищих — а нищих было много в моём детстве: слепых, калек, просто просящих подаяние в поездах, на вокзалах, на рынках, — отец всегда давал медяк и говорил: поди подай. И я, преодолевая страх, — нищенство нередко выглядело довольно страшновато, — подавал. Иногда преодолевал и свою жадность — хотелось приберечь деньги для себя, мы жили довольно бедно. Отец никогда не рассуждал: притворяются или не притворяются эти просители, в самом деле они калеки или нет. В это он не вникал: раз нищий — надо подать.

И как теперь я понимаю, это была практика милосердия, то необходимое упражнение в милосердии, без которого это чувство не может жить.

(По Д. А. Гранину\*)

**Даниил Александрович Гранин** (1919-2017) — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель.

Есть ложное представление, будто город убивает чувство природы.

Я думаю, напротив: город воспитывает естественное чувство, и если мы называем землю матерью, то город — учитель и воспитатель этого чувства к матери-земле.

Я бы мог доказать это исторически, проследив, например, в живописи, как возникал интерес к пейзажу с развитием жизни больших городов, но как-то проще выходит, если говорить о собственном опыте.

Ранней весной я испытывал такое сильное желание странствовать, что становился больным и неспособным к работе. Будь у меня крылья — я улетел бы с птицами, будь средства — поехал бы открывать тогда ещё не открытые полюсы, будь специальные знания — примкнул бы к научной экспедиции. Но не говорю уже о крыльях — не было у меня ни денег, ни полезной специальности. Много мне пришлось побороться с жизнью, пока, наконец, я не овладел собой и сначала научился путешествовать без денег, а потом и летать без крыльев — писать о своих путешествиях.

И трудно же было усидеть в Петербурге весной. Бывало, ночью откроешь форточку и слушаешь, как свистят пролетающие над городом кулики, как утки кричат, журавли, гуси, лебеди — такой уж этот город, окружённый огромными, неосушенными болотами, что, кажется, вся перелётная птица валит по этому рыжему от электричества небу. Бывало, расскажешь про такое что-нибудь в обществе — и так этому удивляются...

Купил я себе за двенадцать рублей дробовую берданку, синий эмалированный котелок с крышкой, удочки, разные мелочи и начал путешествовать. С тех пор ни одной весны я не пропустил, и все вёсны были такие же разные, как посещённые мною края: каждая имела своё лицо.

Все обычные путешествия имеют к моему путешествию такое же отношение, как дачная жизнь к обыкновенной трудовой жизни, потому что добывание по пути средств существования ставило меня в такие же условия, как перелётных птиц, тысячи вёрст до мозолей машущих крыльями. Конечно, без риска ничего не выходит, и моё путешествие без денег тоже рискованное предприятие, но зато когда одолеешь, то непременно сверх лишений остаётся, как у матери ребёнок, большая, прочная радость. Помню, я оплавал почти всё Белое море и по Северному океану довольно много в России и в Норвегии, пользуясь местными оказиями рыбаков, добывая себе пищу почти исключительно охотой и милостью людей за случайные подмоги.

Приходилось ночевать и на лодке, и под лодкой, и на песке под парусом, и раз даже схватить за ногу через дырочку в парусе токующего на мне самом тетерева.

И чего только не бывало во время этого звериного сна, когда спишь и в то же время знаешь, что вокруг тебя делается. Но никогда я не заботился, чтобы собирать материалы для повести, никогда бы у меня из такого путешествия не вышло ничего хорошего, потому что оно бы не было тогда свободным и большое великое должно было бы подчиниться малому личному. Я заботился только о добросовестном изучении местной жизни, слушал всё с вниманием и заносил иногда на лоскуток бумаги (часто папиросной) интересные мне слова.

Трудно так путешествовать, но что же делать! Попробуйте соединиться с ихтиологической экспедицией на Мурман — и вы узнаете жизнь трески; поработайте с поморами на их первобытной шняке<sup>1</sup> в океане по улову этой самой трески — и вы узнаете жизнь всего края через жизнь трудового человека.

Если бы жизнь пришлось повторять, я непременно бы сделался краеведом, но не таким, какие они есть — учёные-специалисты, или энциклопедисты, а таким, чтобы видеть лицо края. Многие думают (и этот предрассудок широко распространён), что если изучить край во всех отношениях и эти знания сложить, то получится полное представление о том или другом уголке земного шара.

Но я думаю, что сложить эти разные знания и получить из них лицо края так же невозможно, как сотворить в колбе из составных элементов живого человека.

Сколько вы ни изучайте край и сколько вы ни складывайте полученные знания, всё-таки непременно останутся места, наполнить жизнью которые может только простак, сам обитатель этого края. Вот мне и кажется, что настоящий краевед должен исходить не из своего знания, например, какой-нибудь ихтиологии, а из жизни самого простака (я не люблю слово «обыватель»). Для этого, скажут мне, существует наука этнография, но и про этнографию я скажу то же самое: живую жизнь она пропускает; для того чтобы схватить живую жизнь, нужно найти секрет временного слияния с жизнью самого простака; самое трудное в этом слиянии, что его нельзя задумать и осуществлять по программе: нужно, чтобы оно выходило из всей природы тебя самого.

В путешествиях, которые, очевидно, и есть моё призвание, я этого иногда достигал, ц думаю, что если нарочно не засмысливаться, то множество людей могут черпать в трудовом опыте ценнейшие материалы. На это мне делали возражение, что для использования трудового опыта должно быть наличие художественного дарования — удел очень немногих. Я согласен, что в известном кругу общества художественный синтетический дар действительно имеют очень немногие, но в простом трудовом народе, причастном к стихии, он есть общее достояние, как воздух и вода.

(По М. М. Пришвину\*)

*Михаил Михайлович Пришвин* (1873-1954) — русский писатель, прозаик и публицист.

Жизнь и смерть — вечная тема искусства, потому очевидно, что человеческая судьба заключена именно между двумя моментами — рождением и смертью. Независимо от того, как человек к ним относится, они определяют его судьбу, его самоценность среди других ему подобных на этой земле. Когда-то в годы войны мы, молодые тогда люди, познавшие жизнь именно в форме жестокой войны, привыкнув к ней, даже не замечали её постоянно и незримо давящего на сознание пресса, мы сжились с ним и просто не могли себя ощущать иначе. И только 9 мая 1945 года, когда этот пресс вдруг исчез, мы не столько поняли, сколько неожиданно для себя почувствовали, от чего избавились. Прежде всего от неопределённости нашей судьбы. Впервые за годы войны жизнь обрела для нас смысл и избавилась от власти случайного. Но ведь многие не дожили до этого дня, не дошли до Победы и так и не узнали об окончании этой войны. Погибли в неведении. И никогда не узнают о, может быть, самом важном из всего, что в течение ряда лет занимало на земле умы миллионов людей.

Понятно и в общем объяснимо нередко высказываемое читательское желание счастливых финалов в произведениях. Но вот что касается прозы о войне, то я, например, каждый раз теряюсь, сталкиваясь с выражением подобных желаний. В таких случаях сам по себе возникает вопрос: что же такое литература? И что такое искусство вообще?

Говорят, что культура — это память человечества. Это правильно. Всё дело, однако, в том, что следует помнить, ведь человеческая память избирательна, а искусство уже в силу своей природы избирательно тем более. Например, что касается войны, то один из её участников из всего пережитого наиболее ярко запомнил, как его догоняли, хотели убить, но промахнулись, и он до сих пор вскакивает по ночам в холодном поту. Другой — как его награждали орденом, и он спустя годы не перестаёт переживать радостные волнения по этому поводу. Третьему не даёт покоя случай, когда рассерженное начальство назвало его «дураком», но теперь это популярное слово в устах не очень разборчивого на слова начальства звучит для него как «молодец» и заставляет каждый раз умиляться. Это я говорю о ветеранах, но то же можно сказать и об авторах военных романов.

Теперь нередко можно услышать от наших читателей, в том числе и ветеранов, суждения вроде: «Ну сколько можно перелопачивать одно трудное да кровавое, ведь были же на войне и весёлые моменты, и шутка, и смех». То есть на первый план выходит желание развлечься. Но ведь во все времена жаждущие развлечений шли на торжища, в скоморошный ряд, но никогда — во храм. Боюсь, что смешение жанров и особенно забвение высоких задач литературы грозят уравнивать торжище с храмом, сделать искусство товаром ширпотреба, средством, стоящим в ряду с продукцией мебельщиков — не более.

Я думаю также, что, хотя мы, допустим, и не гениальные писатели, но уж, во всяком случае, квалифицированные читатели. То есть относительно хорошо знаем жизнь, чтобы разбираться в её запутанных эмпиреях<sup>1</sup>, и кое-что смыслим в литературе. И тут возникает любопытный парадокс: почему мы, люди, в силу своего воспитания и образа жизни зачастую далёкие от крестьянских низов, от жизни «неперспективных» деревень, быта древних стариков и старух, мало или вовсе неграмотных отшельников в зачастую никогда не виданной нами дремучей тайге с их размеренным, однообразным и часто примитивным укладом, почему мы частенько с куда большим интересом и участием читаем об их делах и заботах, нежели о блестящих научных или служебных успехах тех, кто гораздо ближе нам по опыту жизни, мировоззрению, мироощущению — высокообразованных жрецов науки, искусства, руководителей, генералов, начальников главков? Почему безграмотный дед на колхозной бахче<sup>2</sup> куда интереснее изъездившего мир дипломата, определяющего судьбы народов, в то время как наш дед не может удовлетворительно определить судьбу единственной своей бурёнки, оставшейся на зиму без сена. О том печаль его, и она нас трогает больше, чем драматические переживания упомянутого дипломата перед уходом на вполне заслуженный отдых с солидной пенсией и статусом пенсионера союзного значения. Почему солдат в окопе для меня как читателя во многих (если не во всех) отношениях предпочтительнее своей судьбой удачливому маршалу в блеске его снаряжения, штаба и его маршальского глубокоумия? Почему так? — хочу я задать вопрос уважаемым коллегам, хотя и предвижу их скорый ответ: всё дело в таланте автора. Да, но не совсем. Истинность таланта великолепно проявляется уже в выборе героя, который и внушает нам вышеизложенные чувства. Исчерпывающий же ответ на этот вопрос мне, однако, неведом.

(По В. В. Быкову\*)

**Василь Владимирович Быков** (1924-2003) — советский писатель, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны.

Мне хотелось бы на прощание (в мои годы всякое свидание с людьми есть прощание) вкратце сказать вам, как, по моему понятию, надо жить людям для того, чтобы жизнь наша не была злом и горем, какою она теперь кажется большинству людей, а была бы тем благом и радостью, какою она и должна быть.

Всё дело в том, как понимает человек свою жизнь. Если понимать свою жизнь так, что она дана мне, Ивану, Петру, Марье, чтобы добыть как можно больше всяких радостей, удовольствий, счастья этому «я», Ивану, Петру, Марье, то жизнь всегда и для всех будет несчастна и озлобленна.

Несчастливая и озлобленная жизнь будет потому, что всего, чего хочется для себя одному человеку, хочется и всякому другому. А так как каждому хочется всякого добра как можно больше для себя и добро это одно и то же для всех людей, то добра этого для всех всегда недостаёт. И если люди живут каждый для себя — не миновать им отнимать друг у друга, бороться, злиться друг на друга, и от этого жизнь их не бывает счастливою. Если временами люди и добудут себе того, чего им хочется, то им всегда мало, и они стараются добыть всё больше и больше и, кроме того, ещё и бояться, что у них отнимут то, что они добыли, и завидуют тем, которые добыли то, чего у них нет.

Так что если люди понимают свою жизнь каждый в своём теле, то жизнь таких людей не может не быть несчастною. Такая она и есть теперь для всех таких людей.

А такую, то есть несчастною, жизнь не должна быть. Жизнь дана нам на благо, и так мы все и понимаем жизнь. Для того же, чтобы жизнь была такою, людям надо понимать, что жизнь наша настоящая никак не в нашем теле, а в том духе, который живёт в нашем теле, и что благо наше не в том, чтобы угождать и делать то, чего хочет тело, а в том, чтобы делать то, чего хочет этот дух один и тот же, живущий в нас так же, как и во всех людях. Хочет же этот дух блага себе, духу.

А так как дух этот во всех людях один и тот же, то и хочет он блага всем людям.

Желать же блага всем людям значит любить людей. Любить же людей никто и ничто помешать не может; а чем больше человек любит, тем жизнь его становится свободнее и радостнее.

Так что выходит, что угодить телу человек, сколько бы он ни старался, никогда не в силах, потому что то, что нужно телу, не всегда можно добыть, а если добывать, то надо бороться с другими. Угодить же душе человек всегда может, потому что душе нужна только любовь, а для любви не нужно ни с кем бороться; не только не нужно бороться с другими людьми, а напротив, чем больше любишь, тем больше с ними сближаешься. Так что любви ничто помешать не может, и всякий человек чем больше любит, тем всё больше и больше не только сам делается счастливым и радостным, но и делает счастливыми и радостными других людей.

Так вот это-то, милые братья, мне хотелось сказать вам на прощание, сказать то, чему учили вас все мудрецы мира: что жизнь наша бывает несчастна от нас самих, что та сила, которая послала нас в жизнь и которую мы называем Богом, послала нас не затем, чтобы мы мучились, а затем, чтобы имели то самое благо, какового мы все желаем, и что не получаем мы это предназначенное нам благо только тогда, когда понимаем жизнь не так, как должно, и делаем не то, что должно.

А то мы жалуемся на жизнь, что жизнь наша плохо устроена, а не думаем того, что не жизнь наша плохо устроена, а что делаем мы не то, что нужно.

А это всё равно, как если бы пьяница стал жаловаться на то, что спился он оттого, что много завелось трактиров и кабаков, тогда как завелось много трактиров и кабаков только оттого, что много развелось таких же, как он, пьяниц.

Жизнь дана людям на благо, только бы они пользовались ею, как должно ею пользоваться. Только бы жили люди не ненавистью друг к другу, а любовью, и жизнь была бы непрерывающим благом для всех.

(По Л. Н. Толстому\*)

*Лев Николаевич Толстой* (1828-1910) — писатель, классик русской литературы.

## Текст 36

В Малозёмове гостит князь, тебе кланяется, — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. — Рассказывал много интересного...

Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малозёмове, но, говорит, мало надежды. — И, обратясь ко мне, она сказала: — Извините, я всё забываю, что для вас это не может быть интересно.

Я почувствовал раздражение.

Почему же не интересно? — спросил я и пожал плечами. — Вам не угодно знать моё мнение, но, уверяю вас, этот вопрос меня живо интересуется.

Да?

Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малозёмове вовсе не нужен.

Моё раздражение передалось и ей; она посмотрела на меня, прищурилась и спросила:

Что же нужно? Пейзажи?

И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно.

Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты; через минуту она сказала тихо, очевидно сдерживая себя:

— На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счёт.

Я имею на этот счёт очень определённое убеждение, уверяю вас, — ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. — По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья — вот вам моё убеждение.

Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль:

Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потёмков гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блёкнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх.

Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своём образе и подобию; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить.

Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, ещё больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину.

Я спорить с вами не стану, — сказала Лида, опуская газету. — Я уже это слышала. Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.

Правда, Лида, правда, — сказала мать.

В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на неё, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: «Правда, Лида, правда».

Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, — сказал я. —

Вы не даёте ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаёте лишь новые потребности, новый повод к труду.

Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь! — сказала Лида с досадой, и по её тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.

(По А. П. Чехову\*)

*Антон Павлович Чехов* (1860-1904) — русский писатель, прозаик, драматург.